

Михаил Аранов

Баржа смерти

Главы из романа

*Fata viam inveniam!*¹.

Клеанф

Доктор Троицкий

Доктор Троицкий стоит под морозящим дождем на Богоявленской площади. Глядит на ядовито-зеленые, будто покрытые злой плесенью купола церкви Богоявления. Темно-красные стены церкви разрушены. Час назад дохлый пароходик, надсадно пытая, доставил несколько бывших узников баржи на правый берег Волги. Среди них был и доктор Троицкий. На прощание обнялись. Особенно крепко — Троицкий и эсер Душин. «Куда?» — спросил доктор Александра Флегонтовича. «В свою деревеньку Борисовку, жену навестить, детей», — как-то невесело отозвался Душин.

Красные кирпичи церкви Богоявления разбросаны по площади. И стены ее будто плачут кровавыми слезами. Площадь застыла в мертвой тишине. Только едва шелестит дождь. Доктор Троицкий медленно крестится, шепчет: «Боже, сохрани жену мою Марфу Петровну и доченьку мою Ксеньюшку».

И сразу заныло сердце в горьком предчувствии. Вышел на пустынную Углическую улицу. Мертвые, разбитые здания. Груды камней на мостовой. Обрушенные крыши. Остовы сгоревших домов. И тишина, убивающая надежду. Ни одной живой души. Вот на уцелевшей стене разрушенного дома оборванный листок, в углу его двуглавый орел под короной. Доктор читает: «Приказываю твердо помнить, что мы боремся против насильников за правовой порядок, за принципы свободы и неприкосновенности личности...» Дальше листок оборван. И где-то внизу его огрызок, и там: «Полковник Перхуров». Вдруг за спиной шум, крики, разрываемые женским и детским плачем. Толпа молодых женщин с детьми и совсем юных девушек, окруженная отрядом солдат. Троицкий всматривается в лица конвоиров — китайцы. Их неподвижные физиономии под буденовками внушают непонятный страх. Доктор оглядывается.

Старушка, закутанная в черный платок, хватаясь за обгоревший столб, опускается на землю. Троицкий подбегает к ней, за спиной слышит омерзительно визгливый,

Михаил Аранов родился в Ленинграде. Окончил Политехнический институт. Работал инженером, сейчас он журналист. Автор книг прозы «Скучные истории из прошлой жизни», «Страх замкнутого» и сборника стихов «Пространство вытеснения». Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Судьба находит дорогу (*лат.*).

будто кошачий вопль: «Замолчи!» И выстрелы, выстрелы. Китайцы стреляют над головами женщин. Матери прижимают к себе замерших в страхе детей. Конвоиры толкают их прикладами в спины. «Быстро, быстро!» — слышатся опять писклявые нерусские голоса. Процессия уже скрылась в переулке, а доктор все слышит корявое: «Быстро». Троицкий наклоняется над женщиной, сидящей у стены. Поднимает с ее лица черный платок. «Что с Вами? Вам плохо?» — «Боже! Что же это делается. За какие грехи все это», — разрывающие душу рыдания слышатся из-под черного платка. «Что такое?» — тихо спрашивает Троицкой, уже догадываясь, что женщина провожала кого-то в той жуткой толпе. «Боже, за что?! Внучку мою и дочку мою повели на бойню. Мало им, извергам, зятя убили. Поручик, ведь мальчишка совсем. А дочку-то за что? С ребенком...» Доктор Троицкий отходит от рыдающей женщины. Бредет среди пустынных развалин. Вот храм Сретения Господня.

Колокольня изрешечена снарядами. «Гибнет, гибнет Русь православная», — какая больная, уставшая мысль!

И тут же, как удар ножом в сердце: «Боже, что же с моей семьей?!» Вот и его Сретенский переулок. И дома вроде бы целые. Только в некоторых выбиты окна. Доктор опять перекрестился, глядя на храм. Но внимание его задерживается на листках, что наклеены на стены домов. Это большевики расклеили свой декрет: «Завтра, 23 июля 1918 года в восемь часов утра все мужское население города должно явиться на вокзал. Ко всем уклонившимся будет применена высшая мера наказания». «Опять расстрел», — тупо отмечает доктор. И дальше по переулку видны эти серые листки. Вот дом Менделя: «Одежда. Меха». Выбиты окна и двери. Магазин разграблен. Еще квартал, его дом — дом доктора Троицкого. На первом этаже он принимал больных. Троицкий видит груды кирпичей. Обгоревший остов здания. Одна стена целая. Открытая часть комнаты на втором этаже. Его гостиная. У стены стоит буфет. Гордость семьи. Приобрел в мебельном магазине Голкина. Хозяин сам пришел к доктору Троицкому. «Вот мебель итальянскую получили, фабрика известная “Asnaghi Interiors”. К Вам, Фёдор Игнатьевич, к первому пришел. Помню, помню, как Вы сына моего с того света вытащили. Ко мне уже и от Шапова Петра Петровича¹ приходили. Но я повременил, пока от Вас намерение не поступило. Особенно советую буфет», — Голкин говорил длинно и витиевато. Но Троицкий знал отменный вкус мебельщика и не глядя согласился. Что касается содержимого буфета — особой ценностью был в нем китайский сервиз на двенадцать персон. Достался на свадьбу от родителей жены, известных ярославских купцов. Дверцы буфета распахнуты настезь. Видно было, что полки его пустые. Доктор смотрит на свой разрушенный дом, и мысль, как механический стук часов: «Уже побывали, побывали».

Кто-то коснулся его плеча. Оглянулся — за спиной стоит дворник Абыз. Татварин. «Фёдор Игнатьевич, горе-то какое», — Троицкий слышит робкий голос Абыза. «Где? Где моя семья?» — срывается на крик Фёдор Игнатьевич. «В покойницкой при госпитале, — произносит несмело дворник, — третьего дня приходил туда. Говорю, хороший человек был доктор Фёдор Игнатьевич. Дайте, я похороню его жену и дочь. Мало ли кто объявится, могилу показать. Про вас-то люди говорили, что баржа потопла. И все вместе с ней. А в покойницкой ответ — вы не родственник. Тел не выдаем».

В госпитале были все незнакомые люди. Нежданно появилась медсестра. Практику проходила у Троицкого. Узнала доктора, испуганно взглянула на него. Прошептала тихо: «Боже, это Вы?» Потом появился Петя Воровский — коллега и друг тех мирных дней. Обнялись. Троицкий подолом грязной рубахи вытер слезы. Втроем, и Абаз с ними, прошли в морг. Санитар, дежуривший там, сказал, что день назад все невостребованные трупы похоронены в общей могиле на Чурилковском кладбище.

¹ Шапов Пётр Петрович — Городской голова Ярославля (1910—1916).

До погоста ехали молча. Петя раздобыл госпитальную карету. Запряжена похоронной клячей. Слез Фёдор Игнатьевич не вытирал. Они смешались с дождем.

И сдавленный крик, рвавшийся из груди, казалось, оглушил его. Он не слышит, что ему говорит Пётр. Среди тощих берез и осин на поляне свежий холм. И посреди него деревянный кол с куском фанеры, на которой что-то написано чернильным карандашом. Надпись размыта дождем. Доктор Троицкий тихо плакал, обхватив березу. Обратный путь — по дорожной грязи. Скрип несмазанных колес. И хвост клячи мерно раскачивается в такт ее медленных шагов. Боль уходила. На смену ей надвигалась оглушающая пустота. Доктор Троицкий чувствует на своем плече руку Петра Воровского. И тепло руки друга будто возвращает его к жизни.

— А как ты пережил все это? — спрашивает он Петра.

— Я ж тебе рассказывал по дороге.

— Извини. Я прощался с женой и дочерью.

— Известно как. Врачи нужны и красным и белым. Я знаю, ты был на барже. Ее уже окрестили «баржей смерти». А ты? Теперь-то как?

Троицкий показывает бумагу, которую получил при освобождении с баржи.

«Иди к нынешним властям. Я уж не знаю к кому. Они разместились в гостинице “Бристоль”. Она одна из немногих уцелела. Покажи им свою бумагу, а то завтра загонят на вокзал. Декрет-то читал?» — торопливо говорит Воровский.

До гостиницы «Бристоль» Троицкий опять шел по родному Сретенскому переулку. Длинный летний день к вечеру развиднелся. Тучи рассеялись. Солнце стояло низко над домами и било в лицо нежаркими лучами. Около его дома находилась подвода с лошадьёю. Двое мужиков на веревках спускали тот самый итальянский буфет. Еще один мужик торчал у телеги.

— Вы это чего? — возмущенно спросил Троицкий.

— Чего, чего. А вот через плечо, — услышал он в ответ. — Твое, что ли?

— Да, это моя квартира, — неизвестно откуда хватило сил резко ответить.

— Было ваше, стало наше. И проваливай, господин хороший. А то доложим куда надо. Будешь париться на вокзале. Ваших там уже полный зал. А если что — и до оврага возле Леонтьевского кладбища недалеко. Сёдне с утра там офицерских дамочек со всеми ребятенками ихними в овраге шлепнули.

Доктор Троицкий с ужасом вспоминает утреннюю процессию под охраной китайцев. И плачущую пожилую женщину в черном платке. Он растерянно оглядывается. Буфет уже на земле. Мужики, что возились с ним, стоят около доктора. Один — молодой и пригожий блондин. Другой — обросший звериной бородой.

— Что, не верит гражданин-барин? — говорит бородатый. — Мы ж оттудова и приехавши. Забросали овражек землей и приехали.

— Значит, мой буфет вам в награду?

— Поговори ешо, поговори, — равнодушно, без злобы отзывается мужик, что стоял раньше у телеги.

Бородатый и молодой берут доктора под руки, один из них произносит:

— Ну, не заставляй ты нас, мил человек, брать грех на душу. Иди отселе, ради Бога.

Мужики доводят Троицкого до переулка. Толкают в шею. Не оглядываясь, доктор медленно плетется вдоль разрушенных домов. А за спиной слышит голоса. Молодой: «Может, и верно, поставец-то евонный». Суровый бородатого: «Васька, сколь раз тебе говорено: не поставец, а буфет. И шо, зря что ль мы в город приперлись? Степан Евграфович заказывали буфет голландский. Или еще какой заграничный... Обещал знатно расплатиться. Вот и ты своей Верке обнову справишь». — «Да уж, справишь. Дождешься щедрот от Степана Евграфовича. Мироед», — отзывается молодой. Голоса удаляются. Глухой гул наполняет голову Троицкого — то ли набат с дальнего храма, то ли гроза надвигается из-за Волги. Он не помнит, как добрался до

гостиницы. Кому-то он там показал свою бумагу. Кто-то что-то сочувственное говорил ему. Только одна фраза врезалась в его память: «За белый террор мы ответим красным террором». Определили комнату при госпитале. Просили завтра приступить к работе: «В госпитале рук милосердных не хватает». Доктора резануло слово «милосердных». Он взглянул в лицо говорившего. На него смотрели стеклянные, неподвижные глаза палача. Запомнился не человек, а его мертвящий взор.

И мрачное предчувствие, связанное с этими взглядом, не обмануло. Еще раз пришлось увидеть эти глаза.

В своей комнатенке доктор Троицкий упал на кровать и тут же погрузился в тяжелый сон. Утром его разбудил Пётр Воровский. Сказал, что велено двум врачам прибыть на вокзал, при необходимости помочь больному.

— И еще, это уже конфиденциально, — на ухо угрюмо продолжает Воровский, — при оказании врачебной помощи строго ориентироваться на социальную принадлежность страждущего...

— Если буржуй — пусть подышает. Нечего на него пули тратить, — угрюмо заканчивает доктор Троицкий фразу своего товарища. Пётр Воровский обреченно кивает головой.

Вокзал был окружен вооруженными солдатами. Зал ожидания переполнен мужчинами разных возрастов. Были и старики, равнодушно смотревшие на мир слезящимися глазами. И дети — подростки тринадцати-пятнадцати лет. На одной группе Троицкий задержал свой взгляд. Мальчишки, совсем маленькие, верно шести и пяти лет, испуганно оглядывались по сторонам. Прижимались к пожилому мужчине в шляпе. Мужчина что-то успокаивающее говорил мальчишкам. Троицкий слышит только конец его фразы: «... вы всю бомбежку просидели в подвале со мной, вашим дедом... не забудьте сказать — дед учитель, учитель, всего лишь учитель словесности», — выкрикнул мужчина и вдруг схватился за грудь, закачался. Мальчишки тянутся к нему ручонками. А мужчина, судорожно заглатывая ртом воздух, пытается опереться о стену. Дети растерянно смотрят на деда, упавшего у их ног. Пётр Воровский осторожно развязывает галстук на шее старика, расстегивает рубашку. Стетоскопом прикладывает к его груди. Шупает на запястье пульс. «Мертв, — говорит он Троицкому, — надо как-то его внуков вывести отсюда». В дальнем углу зала толпа особенно плотная. Там вход в комнату. Солдаты заталкивают туда людей, на лицах которых Троицкий видит маску неподдельного страха. Раздвигая толпу, врачи идут к этой злополучной комнате. Натолкнувшись на жесткий взгляд солдата, стоявшего у двери, Воровский уверенно говорит: «У нас мандат». Делает вид, что лезет в карман своего пиджака. Солдат показывает рукой на дверь: «Проходите, товарищи». В комнате за столом сидят несколько человек в военной форме. В центре — вчерашний знакомец Троицкого со «стеклянными глазами». Тот, что из гостиницы «Бристоль». Увидев врачей, он растягивает рот в приветливой улыбке, но глаза все такие же неподвижные, стеклянные. «Что случилось?», — спрашивает он. Несколько солдат, прежде скрытых в глубине комнаты, отталкивают группу испуганных мужчин, стоящих перед столом чекистов. Троицкий уже понял, что имеет дело с «товарищами» из ЧК.

— Понимаете, — неуверенно начал Воровский.

— Дело не терпит отлагательства, — грубо оттолкнув Петра, жестко говорит Троицкий. Он вдруг вспомнил, что человека в шинели с красными петлицами и стеклянными глазами, с которым познакомился в гостинице «Бристоль», зовут Губер. Троицкий почти кричит: «Товарищ Губер, умер от сердечного приступа старый человек. Я знаю — это педагог. Моя дочь училась у него. С ним внуки — дети...» Троицкий знает, что сейчас его спросят, кто родители этих детей. Как связаны эти родители с Перхуровым? И он отчаянно врет: «Их мать умерла от тифа. Отец — инвалид войны, погиб в разрушенном снарядом доме. Свидетель — доктор Воровский». Троицкий ловит испуганный взгляд друга. Губер подымает глаза на Воровского. Тот

орет, пересиливая страх: «Подтверждаю». Троицкий с ужасом думает, что сейчас его спросят, как фамилия умершего старика-учителя, которого он якобы прекрасно знает. Но он этого человека первый раз в жизни видел. Спасает Петя Воровский, он вынимает из своего кармана паспорт, обращается к Губеру: «Вот документ умершего, я его взял при осмотре трупа». Губер передает паспорт рядом сидящему чекисту: «Проверьте по списку подозреваемых». Тот начинает рыться в своих бумагах, слюнявит палец, перелистывает страницы паспорта. Солдаты к столу подталкивают испуганных мужчин. «Как связаны с мятежниками?! — орет Губер, — какой офицерский чин имеете? Не врать мне, не врать!»

— Унтер офицер с германского фронта, — с отчаянной смелостью выкрикивает один из допрашиваемых мужчин, — Георгиевский кавалер.

— А ну покажи руки, — подозрительно говорит сидящий рядом с Губером чекист, который до того листал паспорт умершего старика.

Георгиевский кавалер протягивает ему ладони.

— Мягонькие, сразу видно, что из буржуев, — зло шепчет чекист.

Губер кивает головой своему подчиненному. Тот выплевывает, не то утверждая, не то спрашивая: «Шлепнуть». Солдаты подхватывают унтер-офицера под руки. Ведут к дальней двери, еле заметной в углу комнаты. Красноармейцы вводят еще несколько мужчин. Становится трудно дышать. Ужас этих людей передается врачам. И в мрачном полумраке вокзальной комнаты пауком шевелится незнакомое, нерусское слово «концлагерь». «А вы что стоите? Забирайте своего покойника, — Губер зловеще улыбается, — Кальченко, Петров проводите врачей. Да, доктор, документ умершего возьмите». Пётр Воровский прячет паспорт в карман. Солдаты, перекинув на плечах винтовки, ведут по вокзальному залу врачей. У Троицкого возникает ощущение, что их тоже арестовали. Но солдаты поднимают с пола труп старика-учителя. Кивают детям: «Пошли». На выходе, у вокзала, уже стояла повозка с лошадь. «Однако предусмотрительный этот товарищ Губер», — мелькнуло в голове Троицкого. Солдаты кивнули врачам. Один из них произнес: «С Богом». И скрылись в здании вокзала. Троицкий взглянул на мальчиков, подумал о своей погибшей семье, и боль, острая, как предсмертный крик, пронзила его. «Что с тобой?» — испуганно спрашивает Воровский, взглянув на побледневшего товарища. «Огошло, — Троицкий обнимает за плечи мальчиков. — Я их возьму с собой. Согласны?» — обращается он к детям. Те робко кивают головами. «Похороним деда. А там видно будет, — говорит доктор Троицкий, — Петя, ты отвезешь старика?» Воровский молча садится в ноги покойного на повозку. Кучер трогает вожжи. Лошадь, обреченно опустив гривастую голову, застучала копытами по булыжной мостовой.

Мальчиков звали Саша и Петя. Дети спали на полу. Подушки достать не удалось. Фёдор Игнатьевич выпросил в госпитале больничный матрас, одеяло, пахнущее нечистым телом, и две простыни. Простыни были стираны, на редкость чисты, хотя в них зияли многочисленные дыры. Это и были постельные принадлежности мальчиков. Кормились в госпитальной столовой. Детям выдавали одну порцию на двоих — овсянка или серое картофельное пюре. Зато чаю доставалось по стакану каждому и по куску черного хлеба. Видя голодные глаза мальчиков, Фёдор Игнатьевич подкладывал от своей порции несколько ложек в их тарелку.

К осени в Ярославле открылись несколько трудовых школ. Старшего, Сашу, как сироту, приняли в школу без проблем. Ему в ту пору было около шести лет. Сработала бумага Троицкого: «жертва белого террора». О «барже смерти» знал весь Ярославль. Позже — еще событие: вызвали в жилищный совет. Сказали, что идет уплотнение квартир буржуев. И ему, Троицкому Фёдору Игнатьевичу, положена жилплощадь. Троицкий сказал, что при нем дети-сироты. Тут же в соседней комнате оформили опеку. Фёдор Игнатьевич с некоторой иронией подумал: «Вот времена настали. Никакой волокиты и бюрократии». Вернулся в комнату жилсовета. Женщина в

красном платке, повязанном на лбу, как с плаката «Долой кухонное рабство», радостно сообщила: «На троих — вместо десяти метров даем комнату в двадцать метров». И как-то ласково взглянула на доктора Троицкого. Доктор вдруг вспомнил, что ему только сорок семь лет. Только или уже? Впрочем, тут же на память приходит строчка, кажется из раннего Чехова: «В пролетку вскочил старик лет сорока». Ухмыльнулся. Уходя, послал женщине воздушный поцелуй. Женщина зарделась ярче своего красного платка. А доктор вдруг разглядел, что красный платок украшает очень милую девичью мордочку. Смотреть свое новое жильё отправились втроем. Младший — Петя — держался за руку Фёдора Игнатьевича. Старший — Саша — внимательно рассматривал улицы, по которым проходили. Похоже, что-то узнавал. Когда подходили к дому, указанному в ордере, мальчики заволновались. С криком: «Это же наш дом!», бросились к открытому подъезду, помчались вверх по каменной лестнице. Доктор едва успевал за ними. А мальчики уже стучат в резную деревянную дверь, дергают медную дверную ручку. Из двери высовывается неприбранная тетка, зло спрашивает: «Что надо?». — «Это наш дом!» — громко хором кричат мальчики. «Что, чо? Пошли отселе, — зло фыркает тетка и, увидев интеллигентное лица доктора Троицкого, уже не сдерживая себя, орет: — Чо приперлись, чо приперлись! Буржуи недорезанные. Мало вам Леонтьевского кладбища!» Фёдор Игнатьевич снова видит перед собой картину: толпа растерзанных женщин и детей, и китайцы, ведущие их на смерть. Ему становится нехорошо. «У меня здесь ордер на комнату», — тихо говорит он. «Покажи, — тетка угрюмо рассматривает ордер, зло бурчит: — Лучшую комнату хапают. Вон за кухней, следующая. А я-то думала, моей доченьке Машке с ребятенком достанется. Из деревни едут». Тетка выдавливает слезу. Стучит осторожно в первую дверь от входа в квартиру. «Сергей Семёнович, тут пришли, на Машкину комнату зарятся, и ордер есть», — тетка всхлипывает почти натурально. Из комнаты высовывается откормленная морда в полувоенном френче. Зло смотрит на тетку: «Что орешь, как оглашенная!?» «Как же, как же. Вот...» — тетка тычет пальцем в сторону Троицкого. «Коли ордер есть — вот ключ, — френч протягивает руку с ключом. — Последняя дверь по коридору». Кривя толстые губы, смотрит на свою соседку. А та все не унимается: «Как же, как же, Сергей Семенович, товарищ Перегуда, вы ж обещали похлопотать за мою Машку. Я ж вам отрез аглицкого сукна дала на костюм. Моего, царствие ему небесное, Петра Петровича. А тут эта комната уходит в чужие руки». Тетка причитает в полный голос. «Закрой пасть, Дарья, — сурово говорит мордастый Сергей Семёнович. — А твоему Петру Петровичу нечего было водку жрать днями напролет. И отрез твой весь молью потрачен. Выбросил я его на помойку». — «Гляди-ка, выбросил. А давеча в чем Вы шли в горсовет? Костюмчик-то из моего сукна», — уже язвит неугомонная тетка. Дальше — уже за спиной Троицкого — непотребный мат Сергея Семёновича. Троицкий шепчет мальчикам: «Заткните уши». Мальчишки хихикают.

Потом — время сполохами пожара, тенью и мраком. Опять пошел на кладбище, где похоронены дочь и жена. Теперь на могильном холме огромный валун. На нем надпись масляной краской: «Жертвам белого террора». Постоял в одиночестве. Слез не было. Были серые будни. Стоны раненых и больных. Острая нехватка лекарств и перевязочного материала. Затхлый, спертый воздух переполненных больничных палат. Ползли мрачные слухи: по деревням ходят отряды чекистов. Ищут оружие из разграбленных воинских складов. Обыскивают дома. Где обнаруживают оружие, тут же расстреливают всех взрослых мужчин. Арестовали врача Петю Воровского — «За помощь мятежникам Перхурова». Стало известно, что в период мятежа Пётр лечил Перхурова. Тот неожиданно заболел. Думали, тиф. Высокая температура. Понос. Позже выяснилось, что отравился лежалой рыбой. Конечно, он лечил Перхурова не под дулом револьвера. Вот это и есть главная вина врача Воровского. Дали десять лет.

Троицкий присутствовал на суде. Петя увидел Троицкого, печально улыбнулся ему. Фёдор Игнатьевич не сдержал слез. Вышел из судебного зала на улицу. Стояла тяжелая зима двадцатого года. Пришел домой. Было холодно. Мальчики сидели у тлеющего камина — это все, что осталось им от прежней жизни. Лег на диван. Развернул вчерашнюю газету «Известия». Где-то на последней странице маленькая заметка, выхватил глазами две строчки: «Расстрелян левый эсер Душин А.Ф. за содействие левоэсеровскому мятежу Марии Спиридоновой». Мелькнула неразумная мысль: «Как это Душин, сидя в глухой деревне Ярославской губернии, мог содействовать мятежу Спиридоновой?» — «Значит, смог», — ответил человек со стеклянными глазами.

Жизнь стала невыносимой. И почему-то за всеми этими печальными событиями опять виделось доктору серое, точно изъеденное тюремной пылью лицо со стеклянными глазами палача.

Как его фамилия? Никак не вспомнить. На ум приходит что-то на букву «г». Но интеллигентность не позволяет сказать Фёдору Игнатьевичу это слово вслух. Только устало подумал: «Этот палач со стеклянными глазами, что на вокзале правил бал со смертью — верно инородец. Иудей или немец. Инородцы, инородцы губят Россию», — но вспомнил добрую душу немца Фрица Букса с баржи и отверг этот черносотенный вздор. Подумал, может, правильно иронизировал левый эсер Душин: «Естественный ход истории? На смену капитализму должен придти социализм? Да еще с человеческим лицом», — не вовремя эти мысли лезут в голову. Троицкий чувствует, как непроизвольно его губы растягиваются в улыбку. И опять звучит голос Душина: «Большевики бездумно торопятся. Феодалную Россию — через эпоху капитализма в светлое царство социализма. Думают перепрыгнуть пропасть в два приема».

Поздно вечером Троицкий возвращается из госпиталя темным переулком. Вот в подворотне группа беспризорников. Двое мальчишек подходят к Троицкому. Чумазые, оборванные. С худых, грязных лиц смотрят голодные глаза. «Дядька, дай рубль», — слышит он детский голос, но в нем уже звучит бандитская угроза.

«Денег не дам. Вот вам еда, — доктор протягивает мальчишкам котомку с продуктами, полученными утром на продовольственную книжку Пети Воровского. Пётр отдал свою книжку Троицкому за день до своего ареста. «Если не заберут, книжку вернешь. А так месяц еще она действует». Пётр знал, что заберут. Доктор Троицкий видит, как мальчишки набросились на котомку. Жадно вырывают друг у друга ломти хлеба, куски сахара.

— Завтра ждите меня здесь. Я вас отведу в одно место, там вас накормят, — говорит Фёдор Игнатьевич.

— Ладно, иди, дядька. Знаем мы вашу кормежку. Загоните в трудовую коммуну. Мы к воле привыкли...

Дети скрываются в темной подворотне. Идет снег. А жизнь, кажется, остановилась. Троицкий поднимает воротник своего куцега пальто. Знобит. Как бы не слечь с температурой. Надо срочно отоварить свою и детские продуктовые книжки.

И еще одно событие надолго запало в память Фёдора Игнатьевича. Письмо из Германии. На звонок почтальона выскочила соседка Дарья. На ее визгливые крики: «Нету здесь таких, и никогда не бывало», — доктор Троицкий вышел в коридор. Дарья кинулась к нему: «Вот письмо из неметчины. Ужас какой! Город Мюнхен». Троицкий берет конверт. Письмо на имя Вербицкого Прохора Петровича. Нервно разрывает конверт. И первые строчки письма ошеломляют его: «Папа, папа, умоляю, сообщите мне, живы ли Вы. Живы ли мои мальчики...» Боже, это же отец Саши и Пети... Вербицкий — это же фамилия умершего деда мальчишек.

Дарья заглядывает Троицкому в лицо: «Буржуи проснулись? Сами в Германии, а квартиру им подавай». — «Нет, квартира не нужна», — резко отвечает доктор. Комкает письмо, сует его в карман.

— Это из «бывших», — говорит он, — спрашивают, жив ли какой-то Прохор, который жил раньше здесь. Вы не знаете, жив Прохор?

— Что знать-то?! Что знать-то? — засуетилась Дарья. — Тут до вас столько народу перебивало. Клавка — была. Иван — был. А вот Прохора не припомню.

— Ну вот, значит ошибка. Не волнуйтесь. Советская власть вас в обиду не даст.

Доктор Троицкий проходит в свою комнату. Разглаживает рукой смятое письмо, читает: «...Я знаю, что переписка со мной сейчас для Вас опасна. Папа, умоляю. Только дайте мне знать, живы ли вы?..»

Доктор смахивает слезы со свих щек. Прямо как барышня расквасился. Рот сам кривится в произвольной усмешке. Мальчики испуганно смотрят на него. Старший, Саша, подходит к Троицкому, спрашивает: «Это письмо от нашего папы?» — «Ну что ты, Сашенька, — доктор обнимает мальчика за плечи, — ты же знаешь, твоего папу убили на войне».

Наутро вызвали к госпитальному начальству. Сказали, в Гаврилов-Яме открылась больница. Нужен главврач. Предоставляется двухкомнатная квартира. Не раздумывая, Фёдор Игнатьевич согласился. С Ярославлем его больше ничто не связывало.

1937 год

В начале лета 1937 года в Ярославль с проверкой деятельности обкома партии прибыл член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Н.Н.Зимин. Следом — представители ЦК: Лазарь Каганович и Георгий Маленков. Руководство Ярославля было обвинено в «недостаточной борьбе с врагами народа». Пост первого секретаря Ярославского обкома занял Николай Николаевич Зимин. Бывший первый секретарь Ярославского обкома Антон Романович Вайнов¹ был арестован.

Начались аресты партийных работников высшего и среднего звена Ярославля. На освободившиеся места направлялись свежие кадры из провинции. В конце июля 1937 года Иван Поспелов был вызван в Ярославль для работы в обкоме партии. Прощались торопливо. Иван был хмур и неразговорчив. Соня нервно обнимала Катю и Константина Ивановича. Шепнула на ухо Кате: «Едем как на Голгофу».

Молча выпили водки, как на поминках. Видя, что Соня опрокинула в рот рюмку, и Катя пригубила малость.

Уже в дверях Соня сказала: «Как устроимся, непременно надо свидеться. Я дам вам знать».

На фабрике «Заря социализма», в прошлом Локаловской мануфактуре, появился новый директор Колповский Алексей Петрович. С виду — вроде простоватый, неотесанный мужичок. Но когда в Ярославской газете «Северный рабочий» была напечатана статья за подписью первого секретаря Ярославского обкома Николая Николаевича Зимины, в которой одной из главных задач была провозглашена «энергичная борьба по разоблачению врагов народа», на фабрике тут же было проведено закрытое партийное собрание. Алексей Петрович на этом собрании гневно потребовал засучить рукава и провести генеральную чистку кадров. Правда, неясно, кому поручалась эта работа. Но слово было сказано.

Через пару дней после собрания директор фабрики вызвал к себе главного бухгалтера Григорьева. Долго расспрашивал Константина Ивановича, как ему работалось с Перельманом и первым директором фабрики Лямыным. Константин Иванович невзначай спросил, где нынче Лямин.

¹ Первый секретарь Ярославского обкома Антон Романович Вайнов расстрелян 10 сентября 1937 г.

Колповский нахмурился и сухо ответил: «Где-то в Ярославле был на пенсии. Кажется, арестован по делу Вайнова».

Константин Иванович не успел испугаться. Простоватое курносое лицо нового директора не внушало опасений, пока не прозвучало: «Как это вы с левым эсером Перельманом сработались?» Константин Иванович насторожился, однако сумел сдержанно пожать плечами и ответить, что он лишь выполнял работу согласно своей должности. Ожидал с некоторой тревогой, что за этим последует.

Но ничего не последовало. Директор лишь сказал, как показалось Константину Ивановичу, со значением: «Вы свободны. Работайте».

В конце рабочего дня, выходя с фабрики, Константин Иванович увидел, как от ворот отъезжал «черный воронок».

— Это кого повезли? — спросил он охранника.

— Главного инженера Носникова Тимофея Александровича, — испуганно озираясь, ответил тот.

— Недолго прослужил на фабрике главный. Меньше полугода. А вот я засиделся. Не к добру это, — подумалось Константину Ивановичу. И откуда-то из тени осенних деревьев хриплым голосом Перельмана прозвучало: «Вы еще не свели дебет с кредитом, милейший».

Как-то нервно стало на фабрике. Возникло ощущение, что все друг за другом подсматривают. Вот и начальник фабричной охраны Пётр Петрович Филатов исчез. Ведь, считай, больше десяти лет при большевиках на фабрике проработал. Еще вчера его видели, а сегодня в будке при охране другой мужик сидит. Похоже, не местный. Из чужих. Командным тоном распекает охранников. Из фабричных кто-то видел, как баба Петра Петровича рвалась с ревом в ворота фабрики.

Новый начальник охраны пригрозил, что следом за мужем и ее отправят куда надо.

Константин Иванович в своей бухгалтерии стал чувствовать себя неуверенно. Подчиненные стали вести себя излишне независимо. Как бы без прежнего почтения. Константину Ивановичу уже слышится поганенький выкрик: «Кто здесь временный? Слазь».

Слава Богу, хоть дома все идет на лад. Младшая дочь, Наденька, после десятилетки год проработала медсестрой у доктора Троицкого. Доктор дал ей, конечно по-родственному, прекрасную характеристику для поступления в мединститут. Правда, рекомендовал сначала поступить в медицинское училище. В институте — конкурс сумасшедший. Наденька в августе уехала в Ленинград. В сентябре родителям пришло письмо от нее: в институт не прошла по конкурсу. Поступила в медицинское училище. И еще пришло письмо от Сони Поспеловой. Она собиралась скоро приехать в Гаврилов-Ям. Есть серьезный разговор. Мало тревог на фабрике! Какой тут еще серьезный разговор?

Соня приехала в субботу вечером. Одна, без Вани.

Объяснила загадочно: «Ему лучше не слышать того, что я вам скажу». — «Сонечка, а Ваня знает о цели твоего визита?» — спросил Константин Иванович. Соня утвердительно кивнула головой.

И вопрос какой-то странный задала: «Где ваши дочери?» Будто не знает этого. «Сонечка, ты же знаешь, Вера в Ленинграде. И Надя уехала в Ленинград в августе, — с тревогой проговорила Катя. — Давай сразу выкладывай. Не мучай нас загадками».

Соня тяжело вздохнула, подошла к открытому окну, выглянула на улицу. «Не возражаете? Я закрою окно и задерну занавески», — обратилась она к хозяевам. Катя и Константин Иванович озабоченно переглянулись, согласно кивнули. «Разве вы не знаете, что творится сейчас в Ярославле? — спросила Соня. — Вайнов расстрелян. Арестованы второй секретарь обкома партии Нефедов, председатель облисполкома

Заржицкий, директор автозавода Еленин, начальник Ярославской железной дороги Егоров, директор комбината “Красный Перекоп” Чернышёв. Да что там говорить. Нет смысла перечислять дальше. Короче, вам, Катя и Костя, надо уезжать из Гаврилов-Яма. Но только не в Ярославль, а куда подальше».

— Сонечка, я же не директор какой-нибудь. Просто бухгалтер, — промямлил Константин Иванович.

— О чем ты, Костя! Ты что, лучше декана педагогического института? — сухо, без эмоций ответила Соня.

— Что, и его арестовали? — потерянно спросила Катя. Не получив ответа от Сони, оглянулась на мужа. А тот, тяжело глядя на гостью, произнес:

— Значит, на меня уже дело состряпали.

— Спущен лимит на врагов народа для нашей области. Я не должна вам об этом говорить. Но если не скажу, я буду проклинать себя всю жизнь, — Соня с трудом выговаривает слова. — С 1918 года член левозэсеровской группировки во главе с левым эсером Перельманом. Активно пропагандирует буржуазное упадническое искусство. Исполняет романсы в общественных местах. Костя — это про тебя! — отчаянно выкрикнула она.

— Как, Соня? Имя Перельмана в Ярославле на памятнике жертвам белого террора начертано рядом с именами Нахимсона и Закгейма! — восклицает Константин Иванович.

— Костенька, уже несколько лет как его имени там нет. Он же при жизни был близок к Марии Спиридоновой. А по нынешним временам это уже преступление, — Соня тяжело вздохнула.

Опять подошла к окну, отдернула занавеску. Долго всматривалась в темноту улицы. Потом обратилась к Константину Ивановичу:

— В свое время факты, изложенные в доносах на тебя, проверялись. Не подтвердились. Но сейчас, милые мои, — в голосе Сони слышится отчаяние, — если надо, могут легко подтвердиться. И Ваня, будучи в Ярославле, не сможет повлиять на процесс. Все будут решать местные товарищи. А они уже взяли под козырек. Вы же статью Зимина в «Северном рабочем» наверняка читали.

В молчании выпили чаю. На ночь уложили Соню в комнате дочерей. Рано утром она засобиралась домой. На просьбы Кати побыть с ними еще несколько часов, Соня ответила, что не может задерживаться. Ваня будет беспокоиться. Тем более что автобусы до Ярославля ходят редко. Константин Иванович и Катя попытались было проводить Соню до автобусной остановки. Но Соня категорически запретила им это делать. «Конспирация», — усмехнулся Константин Иванович.

— Костя, прошу ко вчерашнему разговору отнестись серьезно. Обещай мне, — Соня обнимает Константина Ивановича. Целует Катю.

Константин Иванович долго стоит на крыльце своего дома, провожая взглядом Соню. Вот она свернула за поворот и скрылась за домами. Невыносимая тяжесть навалилась на него. И горечь и тоска, будто на собственных похоронах. Все, чем жил свои пятьдесят пять лет, надо оставить, вычеркнуть и забыть. Гаврилов-Ям, где каждая улица родная. Ехать в неизвестность, в чужой холодный Ленинград. И где жить? Обе дочери живут в общежитиях. Прошло два тягостных дня. На третий Катя пришла из школы рано и буквально в дверях заявила: «Все. Я уволилась». Константин Иванович сам только что вернулся с фабрики, даже не успел снять ни шляпы, ни плаща. На улице моросил осенний дождь.

— И что, Николай Семенович Петрушкин, уважаемый ваш директор, не удивился, не уговаривал остаться? Не рыдал, мол, учебный год только начался, где мы найдем вам замену? — Константин Иванович неуверенно улыбался.

— Нет. Без вопросов подписал заявление. Лишь сказал: «Желаю успехов на новом поприще», — Катя морщится, как от зубной боли.

— Странно все это. Будто ждал твоего увольнения, — тяжело вздохнул Константин. — Что ж. И мое время пришло собирать вещички.

На следующий день он отправился в отдел кадров фабрики. Старый кадровик, Сергей Кузьмич, удивленно уставился на главного бухгалтера: «Костя, в чем дело? — и не дождавшись вразумительного ответа, перешел на официальный тон: — Я не могу подписать ваше заявление об увольнении. Прошу завизировать его у Калповского».

В кабинете директора фабрики Константин Иванович почувствовал себя совсем неудобно. Взглянув на заявление, директор вонзил злой прищур в своего подчиненного:

— Какой прибавки вы хотите к своему окладу? — Услышав в ответ, что никакой, холодно произнес: — Что ж. На ваше место у меня уже есть человек.

Раздраженно, так, что едва не порвал бумагу, он поставил свою подпись со словами: «Не возражаю». Еще раз подозрительно взглянул на Константина Ивановича, проговорил желчно: «Я говорил, что необходима чистка кадров на фабрике. Считайте, что мы начали с вас».

В отделе кадров Константин Иванович получил справку и в ней вдруг обнаружил сведения о поощрениях и награждениях. Благодарность за организацию качественного бухгалтерского учета и контроля. За что он премирован десятью аршинами мануфактуры. Благодарность за добросовестный труд в честь десятой годовщины Октябрьской революции. Выдана премия двадцать рублей. И уже совсем недавняя запись: «За многолетний добросовестный труд и в связи с двадцатилетием работы на фабрике объявлена благодарность и премия». Какая премия, на этот раз не сказано. Да Константин Иванович и не помнит, чтоб премия ему выдавалась последнее время.

«Ну что, Костя, не помнишь, как получал десять аршин мануфактуры? — прозвучал ироничный голос кадровика Сергея Кузьмича. — Да вот еще тебе документик. О том, что ты жертва белогвардейского террора 1918 года». Константин Иванович рассматривает бумагу: «Арестован белогвардейцами, июль 1918 года, приговорен к расстрелу, освобожден отрядом Красной армии» И подпись: председатель Гаврилов-Ямского сельсовета Иван Данилович Поспелов. «Я приговорен к расстрелу, — невесело подумал Константин Иванович. — Не совсем, конечно, к расстрелу. Но кто сейчас об этом помнит? Впрочем, лучше бы не вспоминали».

«Давай, Костя, провожу тебя до ворот», — говорит Сергей Кузьмич.

Они выходят за ворота фабрики. «Спасибо, Кузьмич, на добром слове», — Константин Иванович обнимает Сергея Кузьмича. «Ты вот что, бумагу Ивана Поспелова береги. Время сейчас такое. При случае может помочь», — напутствует Кузьмич. «Понимаю», — отзывается Константин Иванович, хотя не очень понимает, как эта бумага ему может помочь. «Куда? В Ленинград или в Москву?» — спрашивает Кузьмич. И Константину Ивановичу уже кажется, что не зря кадровик пытал его. «Не решил еще. И в Москве мою тетку, наверное, помнят. И в Ленинграде — дочери», — отвечает он уклончиво. «Да, твоя тетя, Марина Григорьевна, это сестра твоего отца. При Дзержинском служила. Знаю, знаю», — говорит Кузьмич. Такая осведомленность кадровикастораживает Константина Ивановича. Он вглядывается в сморщенное, как печеное яблоко, лицо Кузьмича. Тот понимающе улыбается: «Такая у меня работа, — Кузьмич тяжело вздыхает. — Эх, Костя, знал бы ты, сколько за моей спиной могил. А еще больше спасенных душ».

Еще раз обнялись. Константин Иванович даже пожалел, что не подружился с Кузьмичом раньше. Все было как-то недосуг: «Кузьмич — привет». «Костя, здоровья желаю». И не больше.

«Вовремя, Костя, ты от нас убываешь», — Константин Иванович слышит глухой шепот Сергея Кузьмича. — Тяжелые времена у нас наступают». Холодок пробежал по спине Константина Ивановича. «Может, еще обойдется», — нерешительно отзывается он. «Дай Бог», — Кузьмич крепко жмет Константину Ивановичу руку.

Жена врага народа

Соня вернулась домой. Иван что-то печатал на пишущей машинке. Увидев жену, предложил ей сесть в кресло и не волноваться. Стал говорить с какой-то пронзительной обреченностью:

— Милая моя Сонечка, на завтрашнем партсобрании меня исключат из партии. Ты это знаешь. А дальше увидимся ли мы?..

Соня не дает ему закончить фразу:

— Ваня, что? Арестуют? Должно быть какое-то следствие! — отчаянно выкрикивает она.

— Обвинение уже готово. Я не знаю, когда мы теперь увидимся. И увидимся ли вообще, — голос Ивана еле слышен. — Вот подпиши.

Иван протягивает ей лист печатного текста. Соня читает вслух: «Я, Софья Наумовна Пospelова... года рождения, как истинно советская женщина, гневно осуждаю враждебную деятельность Ивана Даниловича Пospelова, с которым до сего дня находилась в браке...»

— Что значит до сего дня? А дальше?! Ваня, что это такое?

Соня с отчаяньем рвет лист, бросает его на пол.

— Это значит, что ты должна отказаться от меня как от мужа. — Иван пытается не смотреть на жену.

— Никогда! Никогда, Ваня! — рыдания перехватывают крик Сони.

Иван кусает губы. Из губ сочится струйка крови. Он опускается на колени перед женой, обнимает ее ноги.

— Сонечка, ты не знаешь, что такое Алжир¹. Это ужас! Подпиши, ради всего святого. Я за тебя хочу быть спокоен. Это моя последняя к тебе просьба.

Иван берет со стола другой лист бумаги.

— Я знал, что ты разорвешь. Вот второй экземпляр, — Иван усаживает жену за стол. — Вот здесь твоя подпись.

Соня безвольно подписывает текст. Прочитать его полностью не было сил.

Рано утром, когда Соня проснулась, Ивана дома уже не было. На столе записка: «Я люблю тебя, дорогая. Все, что у меня было и есть — это только ты».

Больше она мужа не видела.

В ярославских газетах появилась маленькая заметка о том, что прошел закрытый судебный процесс по делу «приспешников врага народа Н.Н.Зими́на». Далее перечисление фамилий «приспешников». И среди них фамилия Ивана Пospelова. Статья заканчивалась: «Все эти предатели получили по заслугам. И пусть каждый еще не разоблаченный враг народа помнит, что от справедливого советского суда он не уйдет».

Через неделю Соня получила по почте повестку в районный отдел НКВД. Видимо, Ваня бросил в почтовый ящик Сонино отказное письмо.

Сотрудник НКВД долго молча рассматривает Соню. Пальцы его выстукивают по столу какую-то нервную дробь. Потом он раскрывает черную папку, и Соня видит лист бумаги со своей подписью.

Текст был напечатан на пишущей машинке. В тот злополучный вечер Соня, подписывая отказную бумагу, не обратила внимания, что подписывает печатный текст.

— Это вы печатали? — слышит она голос чекиста.

¹ Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Соня кивает головой. И ей становится страшно. Ведь это печатал Ваня. Но тут же она берет себя в руки: на столе Вани стоит машинка «Ундервуд». И все партийные доклады Соня печатала под диктовку Вани. Все-таки она учитель — гарантия, что в тексте не будет грамматических ошибок.

— На какой машинке печатался текст? — слышит она бесцветный голос.

— Ундервуд, — произносит Соня мертвым голосом.

— А ну, попробуйте напечатать что-нибудь.

Соня бросает взгляд, куда указывает чекист. В углу комнаты на отдельном столе стоит пишущая машинка.

— Эта марка машинки мне не знакома, потому...

— Понимаю, — прерывает ее чекист, — все равно пробуйте.

Соня садится перед машинкой. Сначала неуверенно, а потом все быстрее печатает: «У лукоморья дуб зелёный; золотая цепь на дубе том: и днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом».

— Не надо кругом. Пожалуйста, прямо, — насмешливо говорит чекист. — Печатайте: я, София Наумовна...

Соня оглядывается на чекиста:

— Простите, не София, а Софья.

— Как прикажете, — усмехается тот. — Пожалуй, здесь недоработка советской орфографии. Впрочем, оба варианта возможны.

Соня слышит булькающий хохоток. И потом жесткий голос:

— Софья Наумовна Поспелова, в девичестве Иоффе, года рождения... сообщаю...

— Что я сообщаю? — Соня испуганно оглядывается на чекиста.

— Как что!? Отказываетесь от своего мужа, Поспелова Ивана, как от врага народа, — зловеще шепчет ей на ухо чекист, стоя за ее спиной.

Соня вскакивает со стула, отталкивая склонившегося над ней мужчину.

— Я уже об том написала. Сколько можно! — выкрикивает она отчаянно.

— Столько, сколько нужно, — слышит она ядовитый голос. — Не хотите писать? Значит, это муж вас заставил написать?

Соня вдруг видит перед собой лицо Вани и слышит его голос: «Мужайся».

В ней вспыхивает отчаянная ненависть к своему мучителю. Этому сотруднику НКВД. И она печатает фразу: «отказываюсь как от врага народа».

— Вот это уже дело, — чекист почти дружелюбно смотрит на Соню. — Взгляните: это ваша подпись?

Перед Соней лист с ее подписью. Она бессильно кивает головой.

— Вот и чудненько, — слышится елейный голос. Соня удивленно смотрит на чекиста.

— У меня больше нет вопросов, — говорит он. — А сейчас перейдите в соседнюю комнату. Там вас ждут.

Соня встала, направилась к двери. И уже на выходе слышит опять голос чекиста:

— Софья Наумовна, вы и своим близким пишете письма на машинке?

Соня останавливается, собравшись с духом и мельком взглянув на чекиста, отвечает:

— Вы же понимаете, НКВД не мог входить в круг моих близких.

И опять булькающий смешок за спиной, и опять елейный голос:

— С сегодняшнего дня вам придется смириться с фактом, что в кругу ваших близких появился Народный комиссариат внутренних дел.

Соня чувствует, как холодная испарина покрывает все ее тело. И жуткая, убийственная мысль поражает: «Они хотят меня сделать своим агентом».

В соседней комнате опять человек с таким же смазанным лицом. Поразительно, как они все неразличимы. И такой же невыразительный голос:

— Софья Наумовна, вы получите новый паспорт, где будет отсутствовать

свидетельство о браке. Вы останетесь на своей прежней фамилии, или вас записать под девичьей, Иоффе?

— Оставьте — Пospelова, — Соня со страхом ждет ответа чекиста. Но слышит почти дружелюбное:

— Разумно, все-таки русская фамилия.

Соне хочется крикнуть: «Вы — антисемит!». Гневно, откуда силы взялись, взглянула на чекиста. И вдруг встречает умный, почти сочувствующий взгляд. И звучит его спокойный голос:

— С прежней фамилией вас легче контролировать, — и, почти шепотом: — Я бы вам рекомендовал как можно скорее покинуть Ярославль, — и уже громко и отчетливо: — За паспортом — в следующий понедельник. Подпишите эту бумагу с вашими новыми паспортными данными. Кстати, на всякий случай запомните мое имя: Свистунов Семён Аркадьевич, старший майор государственной безопасности.

Окинул фигуру Сони омерзительно похотливым взглядом. Будто раздел ее. Соня бросила на него презрительный взгляд. И встретила вдруг опять добрую, благожелательную улыбку. «Как они умеют менять свое лицо. Как бы мне не попасться на их удочку. Страшно, какую еще наживку они мне предложат», — эта трезвая мысль была мгновенно смята, будто ударом молотка по черепу. Вопрос, который все время звучал у нее в голове. Но именно сейчас, здесь, в помещении НКВД, мгновенно привел ее в ужас: «Ваня расстрелян?» И решение: она пойдет на все, лишь бы узнать, что с Ваней?

Из школы, где она работала, пришло письмо. Директор вежливо напоминал, что время ее отпуска, взятого за свой счет, заканчивается. Просил зайти до окончания срока.

Тут же собралась. Благо школа рядом. Уроки уже закончились, так что учеников она не встретит. В школе, конечно, уже известно все про Ваню. Так что косых взглядов не избежать. Особенно больно видеть враждебные взгляды школьников. Еще недавно — любимая учительница. Впрочем, насколько это было искренне? Как-то случайно услышала разговор о себе двух учителей: «Вон красавица наша, Сонька Пospelова, опять на доске почета. Еще бы. Муж-то ее нынче какой партийный бонза».

А когда Николай Николаевич Зимин был расстрелян, новый подленький слушок пополз среди учителей: «Скоро и до Пospelова доберутся». Все это докладывала на ухо Соне ее лучшая подруга Настя Романова. «Долго ли Настя будет лучшей подругой?» — тогда еще подумала Соня.

И вот сейчас она идет по коридору школы. Видит, как сторонятся ее бывшие товарищи по работе. Легкий кивок, и тут же отводят глаза. А то и вовсе не замечают. Вот толпа школьников высыпала из класса. Верно, с продленки. Увидев ее, замерли. Никто не сказал: «Здравствуйте, Софья Наумовна». Когда она прошла мимо, загалдели. И Соня слышит за спиной: «Предательница». Вот, наконец, и кабинет директора. Дальше идти просто не было сил. В кабинете школьный народ. Директор привстал со своего стула. Улыбнулся Соне так, что ее чуть не стошнило. Присутствовавшие учителя как-то бесшумно растворились. Ни один не поздоровался с ней. Вышли из кабинета, в упор не видя Соню. А за их спинами шмыгнула и лучшая подруга, Настя Романова. Однако успела пожать руку Соне, но так, чтобы никто не видел.

«Присядьте», — слышит Соня сухой голос директора. Натянутая улыбка не сходит с его лица.

— Мне звонили оттуда, в связи с изменившейся ситуацией, просили. Нет. Предложили создать вам благоприятную обстановку для вашей дальнейшей работы в нашей школе. Звонил товарищ Свистунов Семён Аркадьевич. Ваш знакомый?

Соня слегка кивнула головой.

— Вот и отлично, — директор улыбается. Но глаза его холодные и злые. — Но понимаете, создать благоприятную обстановку, как предлагает ваш знакомый, —

мерзкая улыбочка исказила интеллигентное лицо директора, — будет трудно осуществить. Сами понимаете, ситуация вышла из-под контроля. Может, вам лучше перейти в другую школу? Тем более, в связи с вашим отсутствием, часть ваших учебных часов я передал Настасье Кузьминичне Романовой.

— И Романова не возражала? — спросила Соня. На душе безнадежно горько. Вот она — лучшая подруга. Впрочем, с какой стати она должна возражать? Каждый хочет заработать лишний рубль.

Директор надевает очки, что-то рассматривает среди своих бумаг. Соня понимает, что разговор окончен. Она встает.

— Насчет перехода в другую школу я подумаю. А пока продлите мой отпуск за свой счет еще на пару недель,— говорит Соня.

— Да, да. Конечно, — в голосе директора очевидное облегчение. С этой Пospelовой всегда были проблемы. И когда муж ее был в верхах. Не дай Бог, Софье Наумовне перечить. И сейчас, когда этот муж, страшно сказать, изменник Родины — морока в оба бока.

— А товарищ Свистунов — не мой знакомый, как вы, Иван Иванович, изволили двусмысленно выразиться, — слышит директор голос Сони Пospelовой. И в ее голосе явно звучат какие-то жесткие ноты. Иван Иванович настороженно вглядывается в Сонино лицо.

За все время разговора Соня первый раз назвала директора по имени-отчеству. Вот трудно было ей почему-то произносить его имя.

— Товарищ Свистунов — старший майор государственной безопасности, — продолжает Соня, — может, и вам придется с ним познакомиться.

От этих слов Ивану Ивановичу стало нехорошо. Он испуганно вскинул глаза на Соню. Что-то странное произошло с его молодой сотрудницей. Перед ним стояла уже не та потухшая и загнанная женщина, что была в начале беседы. А воительница, ну прямо Жанна д'Арк.

Директор хочет что-то сказать в свое оправдание. Даже готов предложить остаться в школе. Раз товарищ Свистунов рекомендовал, он все сделает, чтоб коллектив школы относился с положенным уважением к Софье Наумовне. Но слова как-то не складываются. Он даже встал со своего стула. Но дверь его кабинета уже закрылась за Соней Пospelовой.

Дома Соня упала на диван. Стон и рыдания, похожие на вой одинокой ночной волчицы, разрывали ее грудь: «Ванечка, милый мой! Что же мне делать! Как мне без тебя?! Помоги мне. Помоги!»

Пролежала с раскрытыми глазами почти всю ночь. Не заметила, как заснула. Проснулась оттого, что солнце било в глаза сквозь морозные узоры на стекле. Ополоснула лицо холодной водой. Есть не хотелось. Да и не было ничего на кухне, кроме сырой картошки и подсолнечного масла. Выпила крепкого чая с куском черного хлеба. Взглянула на себя в зеркало: измученное лицо с темными подглазницами. А вот бедра и грудь непозволительно откровенны. Горько усмехнулась: надо идти за паспортом, а там этот кобель, товарищ Свистунов. Не думая, мазнула губы ярко-красной помадой. Еще раз взглянула в зеркало: «Парижская шлюха». Почему парижская? Ни разу не была в Париже. Помнит только: «Пуанкаре — война». А этого достаточно, чтоб шлюха была французской.

Вот она сидит в кабинете старшего майора государственной безопасности Свистунова. Семён Аркадьевич долго роется в своем столе. И Соне кажется, что он умышленно тянет время. Наконец перед ней лежит паспорт.

— Проверьте, все ли правильно написано, — говорит старший майор.

Соня листает паспорт. «Все правильно», — произносит неуверенно Соня.

— Что-нибудь еще? А?— Свистунов сидит с открытым ртом. И лицо его кажется совсем глупым.

— Суд над Пospelовым уже был. Я читала в газетах. Но я не получила никакого документа о судебном приговоре. Я не знаю, что с ним,— еле слышно произнесла Соня.

— А причем здесь вы? Пospelов вам никто. Взгляните на ваш паспорт. Вас никто не заставлял отказываться от мужа. Почему мы должны вам чего-то сообщать о нем? А?— Свистунов склонил голову набок. Сдвинул свою левую щеку так, что открылась половина рта. И еще прищурил левый глаз.

— Я хочу знать, что с ним. Может, его расстреляли? — Соня не слышит своего голоса.

— Может,— старший майор пожимает плечами. И что-то похожее на скорбную мину появилось на его лице.

— Умоляю вас, что с ним!— отчаянно выкрикивает Соня.

— Я, конечно, могу пойти на нарушение внутреннего распорядка. И представить вам судебное решение,— некоторое время Свистунов молчит. Рассматривает Соню с торгашеским пристрастием. Потом Соня слышит его голос, вдруг ставший приторно-сладким:

— Вы ж понимаете. Я рискую. А что вы мне предложите?

— Я? А что я могу?— Соня старается унять дрожь во всем теле. Ее будто окатили ледяной водой. А потом нестерпимый жар. Она чувствует, как пот покрывает все ее тело.

— Вам плохо?— участливо спрашивает старший майор.

— Нет, нет. Все нормально,— Соня глубоко вздыхает,— сколько вы хотите денег? Видит, как лицо чекиста расплылось в широкой улыбке.

— А что же вы хотите?— потерянно произносит Соня, уже зная ответ Свистунова.

— Вас, моя милая,— шепчет старший майор. Встает из-за стола. Обнимает за плечи Соню. Соня вскакивает. Сбрасывает руки старшего майора со своих плеч.

— Ну, не надо так. Я же вижу, что мы договорились,— Свистунов улыбается. — Так что в пятницу я вас жду. И документ о судебном решении будет у вас.

Соня выходит в коридор. Ее всю трясет, как в лихорадке. И мысль, словно мучительная головная боль, от которой можно сойти с ума: «Только бы Ваня был жив. Будьте прокляты все, все. Только бы Ваня был жив».

И настала это проклятая пятница. И вот она стоит перед зеркалом. Сурьмит брови и ресницы. Красит губы кроваво-красной помадой. Юбка, обтягивающая бедра.

Зимнее пальто. Чернобурка на плечах. Что-то попало под руку. Швырнула на пол. Разбила карманное зеркало. Жизнь разбила. Блестящие осколки под ногами.

Вот они идут по заснеженной улице Ярославля. Свистунов пытается взять ее под руку.

— Нет, нет,— Соня отталкивает его.

В комнате полумрак. На столе вино, фрукты. Свистунов вынимает из кожаного планшета бумагу.

— Это приговор суда,— говорит он.

Соня впивается глазами в текст. «Ради Бога, включите яркий свет!» — кричит она.

Над головой вспыхивает хрустальная люстра.

«Десять лет без права переписки», — читает Соня. «Жив», — проговорила она. А дальше — как в тумане. Безвольно проследовала за Свистуновым в спальню. Лежала, ничего не чувствуя. Только ощущение брезгливости. Потом ночное такси до дома.

Перед этим шальной шепот старшего майора: «Будь со мной навсегда». Бумажку с номером телефона он сунул ей в карман. И опять: «Я буду ждать твоего звонка».

Утром она получила письмо от матери из Ленинграда. Мать просила приехать. Отец тяжело болен. Решение пришло сразу. И она уже в кабинете у директора школы. Пишет заявление об увольнении. «Да что вы?— восклицает Иван Иванович. — Как можно!» Но скрыть радость он не в состоянии.

Ленинград встретил слякотью. С серого неба сыпал мокрый снег. Народ, одетый убого и серо, куда-то озабоченно торопился. И чернобурка на плечах Сониного пальто вызывала недоброжелательные взгляды.

Соня оставила свою маму, Анну Давыдовну, сторожить чемоданы у выхода с Московского вокзала, а сама пытается поймать такси. Но все машины проносятся мимо.

Снег превратился в дождь. И роскошная Сонина чернобурка под дождем превратилась в драную кошку. Соня взглянула на свои плечи: точно «драная кошка». Вот они с матерью идут на трамвайную остановку. С трудом пробиваются со своей поклажей в переполненный вагон. Время было рабочее. Люди висели на подножках трамвая. Внутри вагона стояла ругань: кому-то наступили на ногу. А какой-то шибко сознательный умник требовал у толстого мужика, рассеявшегося на два места, чтоб тот уступил одно пожилой женщине. Соня оглядывается и пожилых женщин, кроме своей матери, рядом не видит. А Анна Давыдовна сердито шепчет на ухо Соне: «Не гляди по сторонам, а следи за своими карманами». Соня с каким-то нехорошим чувством морщит лоб. А мать извиняется за свой город, утверждает, что все это не ленинградцы. Это все приезжие. Ленинградцы такого себе не позволяют. Чего «такого», Соня не спрашивает. А умник уже откровенно бросает на Соню призывные взгляды, явно предлагая ей поддержать его гражданский почин, а может быть и большее. И это «большее» особенно раздражает Соню. Она пытается отодвинуться так, чтобы не видеть умника. Но теснота такая, что протиснуться сквозь толпу совершенно невозможно. Соня последнее время замечала в своем облике что-то порочное, что притягивает взгляды мужчин. А уж сейчас это было просто невыносимо: она ехала на похороны отца. О его смерти мать сообщила, еще не обняв дочь при встрече. Отец умер, пока Соня ехала из Ярославля.

Двухкомнатная квартира на проспекте Володарского уже полна была родственниками и друзьями. И там все еще продолжался спор, где хоронить Наума Исааковича, отца Сони. На еврейском Преображенском кладбище или на Коммунистической площадке Александро-Невской лавры. Наум Исаакович как старый большевик был достоин Коммунистической площадки Александро-Невской лавры. Его ленинградские друзья еще помнят, как он неустанно повторял, что всякая наука не только должна быть классовой, но и партийной. Как он доносил до студентов эту идею, будучи профессором высшей математики, оставалось загадкой. Но руководство института утверждало, что именно Наум Исаакович есть представитель «плеяды красной профессуры». Правда некоторые злые языки — а где их нет — болтали, будто мысль, что «всякая наука не только должна быть классовой, но и партийной наукой» принадлежит М.Н.Покровскому¹. «История — это политика, опрокинутая в прошлое», — любил повторять Наум Исаакович, правда на авторство не претендовал.

А сейчас, над гробом — или хорошо, или ни о чем. Но спор, где хоронить, продолжался.

Преображенское кладбище требовали родственники из Житомира, а Коммунистическую площадку — ленинградские друзья семьи. Анна Давыдовна в этот спор не вмешивалась. Говорила: «Только бы поближе к дому».

¹ *Покровский М.Н.* — видный русский историк-марксист, советский политический деятель. Лидер советских историков в 1920-е годы. Глава марксистской исторической школы в СССР. Академик Белорусской АН.

Победили в споре ленинградские друзья. Но тут выяснилось, что с захоронением на площадке Александр-Невской лавры возникли определенные сложности, которые на данный момент не преодолеть. Уже как-то второпях выбрали Красненькое кладбище. Опять вспомнили, что Наум Исаакович — старый большевик. А кладбище все-таки *красненькое*. К приезду Сони эти споры уже улеглись.

На могиле решили установить деревянную пирамиду с металлической красной звездой. На более достойный памятник из гранита решили скинуться в ближайшее время. Но скинуться не случилось. Надвигалась страшная война. Небесный счетовод уже начал отбивать свой тревожный набат. Но народ, как всегда, был глух к нему.

Соне надо было устраиваться на работу. Для этого нужна прописка. Управдом, Александр Александрович, помнил Соню еще девчонкой. Она тогда училась в высшем Императорском женском педагогическом институте. Чтобы поступить туда, пришлось принять православие. Крещение Сони было семейной тайной. Но об этой тайне знали все соседи. Заканчивала она обучение уже в Третьем петроградском институте. (С 1920 года — Институт имени Герцена). Александр Александрович тогда не был управдомом, работал кладовщиком на Путиловском заводе. Жил в том же доме, что и семья Иоффе.

По окончании института Соня отправилась на работу в Ярославль.

Управдом лишь сказал, увидев в ее паспорте фамилию Пospelова: «Замужем». Взглянул на следующую страницу паспорта, уже строго спросил: «А где штамп о браке? Вы в разводе? Тоже штампа нет».

«Считайте, что Пospelова — мой псевдоним», — вымученно улыбнулась Соня. «Все шутите», — строго проговорил управдом. И тут в голове Сони заискрился стишок: «В Загее публики обилье. Идут люди хлопотать, чтобы скверные фамилии на красивые сменять. Голопупенко на Чацкий, Соплякова на Сафо...» Она уже хотела этот стишок произнести вслух. Но под суровым взглядом управдома слова застряли в глотке. Соня смотрит на управдома и вдруг начинает чувствовать к нему почти отвращение. Угрюмо говорит: «Я не была замужем и не разводилась. Просто сменила фамилию. Что? Нельзя?»

Она хотела сказать, что вот и Каменев и Зиновьев сменили фамилии. И товарищ Сталин нынче не Джугашвили. Но упоминание имени товарища Сталина рядом с именами «врагов народа» показалось ей совсем уж ни в какие ворота. Тут еще началось какое-то першение в горле.

Может, это Небесный счетовод вовремя ее надоумил промолчать. И она уже слышит почти доброжелательный голос управдома: «Конечно можно. Это ваше право». А он еще хотел сказать, что нынче все евреи меняют фамилии. Но вспомнил, что семья Наума Исааковича Иоффе пользовалась уважением в доме. Да и друзья их семьи имели в городе серьезные связи. Тут уж лучше от греха подальше. Вовремя заткнуть себе рот. Так что с пропиской Сони в родительской квартире все уладилось.

Однако Александр Александрович послал запрос в районный НКВД. Через пару недель пришел ответ, что Пospelова Софья Наумовна ни по каким делам на сегодняшний день ни как свидетель, ни как подозреваемый не проходит. Но вскоре Александр Александрович спохватился, что не указал в своем запросе, а может и доносе — работа у него такая, — что Софья Пospelова приехала из Ярославля, где проживала долгое время. Две ночи ворочался без сна. Жена даже раздраженно заметила: «И что, Александр, опять тебе в башку что-то втемяшилось? Спать не даешь». Все-таки умная женщина. Александр Александрович решил не будить зверя. Не хватало, чтоб и его самого начали проверять. Вот засветишься излишним усердием. А кто не без греха? И потом, мать Софьи — врач в районной поликлинике. Приходится иной раз к ней обращаться. Годы ведь не молодые. Всякие болячки полезли. Эти резонные мысли совсем смирили Александра Александровича, и он сообщил жене,

что надо бы показаться Анне Давыдовне. Мол, какая-то немочь одолела его. И жена его поддержала: «Сходи, конечно. Анна Давыдовна хороший врач».

А Соне ленинградские друзья названивали, сообщали адреса школ, где ее ждут с нетерпением. «Так уж и с нетерпением», — Соня кривит свой красивый чувственный рот, больше предназначенный для поцелуев, чем для язвительных гримас. «Не надо так о людях. Они стараются. А ты нос задираешь», — с какой-то безотчетной покорностью произносит Анна Давыдовна. Соне вдруг становится невыносимо жаль свою мать. Но не рассказывать же ей, чего стоят эти друзья. И какой у нее, Сони, печальный опыт ярославской школы.

Впрочем, все вроде складывалось благополучно, но на душе было беспокойно. Кто-то свыше предупреждал Соню, но она пока не понимала, о чем. Но когда появилась утренняя тошнота и задержка месячных перевалила за три недели, Соня поняла, что пришла беда. Гинеколог подтвердила, что у нее беременность пять недель.

Соня судорожно посчитала дни, и уже не было сомнения, что ребенок — от старшего майора НКВД Свистунова.

В тот же день Соня сообщила матери о своей беременности. «Какое счастье! Ваничкин ребенок!», — радостно воскликнула Анна Давыдовна. Но увидев потемневшее лицо дочери, испуганно спросила: «Что? Это не Ваня?» — «Мама, не спрашивай меня ни о чем. Мне надо сделать аборт», — глухо проговорила Соня. «Доченька, но аборт запрещены», — Соня не слышит этих слов матери. «Подпольный аборт — это же опасно», — повторяет Анна Давыдовна. «Мама, не пугай меня, — устало произносит Соня. — Я знаю, у тебя есть знакомые гинекологи, которые делают это».

— Эта операция стоит очень дорого. Мне придется заложить в ломбард папины золотые часы. И свое кольцо с рубином, — обреченно сообщает Анна Давыдовна.

— Вот этого делать не надо. У меня деньги есть. Пospelову платили хорошую зарплату, — в голосе дочери слышалась бесконечная усталость.

— И все-таки что с тобой случилось? — Анна Давыдовна с сомнением смотрит на дочь.

— Мама, не мучай меня. Прошу, не мучай! — с отчаянием произносит Соня. Мать обнимает дочь. Шепчет еле слышно: «Все пройдет, дорогая. Все пройдет».

Аборт дочери делала знакомая Анны Давыдовны гинеколог Семёнова. Началось сильное кровотечение. Соня временами теряла сознание. Анна Давыдовна переводила взгляд с бледного лица дочери на испуганное лицо гинеколога. И ей становилось страшно. А после того как она услышала от Семёновой: «Я сделала все, что могла», — Анна Давыдовна позвонила другу умершего мужа, Николаю Самсонову, у которого были серьезные связи в медицинских верхах. Впрочем, не только в медицинских. Николай был вездесущ. Уж очень не хотелось вовлекать ленинградских друзей в это дело. Ведь причастность к подпольному аборту могла закончиться для них печально. Другое дело, Семёнова — она рисковала за большие деньги. Анна Давыдовна только сказала в трубку: «Коля, у нас беда». И Самсонов уже звонит в дверь. А через пару часов в комнате, где лежала Соня, сидел седовласый суровый старик, как его позже представил Николай — профессор Рихтер. Профессор попросил всех выйти. Николай обнял за плечи Анну Давыдовну, негромко произнес: «Он творит чудеса». Гинеколог Семёнова тихо исчезла. Молча сидели в комнате. Прозвучал робкий звонок в дверь. Появилась Ольга, жена Николая. На цыпочках проследовала к дивану, где сидел ее муж.

Наконец из Сониной комнаты вышел профессор Рихтер. «Кровотечение остановлено. В случае рецидива звоните в любое время». Подал Анне Давыдовне бумажку с номером своего телефона. «Я вам буду очень благодарна», — Анна Давыдовна обеими руками ухватила за протянутую руку профессора. Рихтер сурово

посмотрел на Самсонова. Такой же суровый взгляд брошен на Анну Давыдовну. Надменно кивнув, он покинул квартиру.

Анна Давыдовна испуганно оглянулась на Николая. Тот слегка улыбнулся: «Аня, все нормально. И фраза “буду благодарна” всем понятна». Тут же заторопился: «Анечка, я побежал на службу. Оля останется с тобой». «Конечно», — торопливо проговорила его жена.

— Да, — остановила Николая Анна Давыдовна, — мой гинеколог, которая не смогла справиться с кровотечением, что с ней будет? Рихтер кому-то доложит?

— Что ты, Аня! Если твой гинеколог засветится, тогда и тебе будет несладко. Так что забудь все, как страшный сон. И забудь имя своего гинеколога.

«Да, забудешь ее, если мы сидим в соседних кабинетах», — подумала Анна Давыдовна.

— А Рихтер — человек неприкасаемый. Он ни перед кем не отчитывается, — слышит она голос Николая. И короткий его смешок: — Только разве перед Господом Богом.

«Чего это Коля о Господе Боге? — тоскливая мысль царапнула Анну Давыдовну. — Он-то, Николай, наверняка знает, что у нас неприкасаемых нет. У него в этом деле богатый опыт. Около Жданова¹ все время трется». От этой мысли Анне Давыдовне стало нехорошо. Из всех друзей Николай — единственный близкий человек остался. А она так подумала о нем. Вот ведь после смерти мужа друзья как-то стали быстро забывать Анну Давыдовну. В первые дни после похорон шквал звонков был. А теперь... — может, и права Сонечка...

Соня лежала с закрытыми глазами. Анна Давыдовна наклонилась над дочерью. Прислушалась к ее ровному дыханию. Облегченно вздохнула. Порылась в шкафу. Достала золотые часы мужа, свое золотое кольцо с жемчугами и рубином.

— Оля, ты посидишь еще? Я в ломбард, — крикнула она уже из коридора.

— Иди, иди, — услышала она ответ.

Денег из ломбарда не хватило. Приемщик ломбарда, явно ворюга, занизил цену почти вдвое. Видит, что у женщины безвыходное положение. Уверен, что выкупать свои драгоценности она не придет. А он продаст часы и кольцо втридорога. В конверт для Рихтера пришлось добавить деньги из зарплаты. На жизнь хватит.

Деньги Анна Давыдовна передала Ольге. «Мне твой Коля сказал, какая сумма, возможно, понадобится», — проговорила она неуверенно. Ольга лишь кивнула головой. И уже в коридоре, надевая пальто, вдруг спросила: «А что с Сониным Иваном?» — «Десять лет без права переписки», — тяжело вздохнула Анна Давыдовна.

В полумраке коридора она не увидела, как изменилось лицо подруги. Ольга схватила Анну Давыдовну за руку и с каким-то неподдельным ужасом проговорила: «Анечка, пойдем, пойдем на кухню. Надо поговорить».

— Оля, что ты меня пугаешь? — пытается улыбнуться Анна Давыдовна, усаживаясь на стул.

И улыбка ее тут же гаснет при виде потерянного лица Ольги.

— Что? Что ты хочешь мне сказать? — почти кричит она.

— Аня, «десять лет без права переписки» — формулировка приговора, который на деле означает расстрел. Потом сообщат, что умер в лагере через два-три года после ареста. А на самом деле — тут же расстреляли. — Ольга взглянула на помертвевшее лицо Анны Давыдовны, и ей стало страшно. Собравшись с силами, Ольга проговорила: «Бывали случаи, когда эта формулировка соответствовала действительности. Только ради Бога, ничего не говори Соне».

Ольга ушла. Анна Давыдовна еще долго сидела на кухне. Сил не было подняться. Непосильную ношу взвалила на нее Ольга своим откровеньем. Потом все-таки встала, вошла в комнату дочери. Соня спала.

¹ Жданов А.А. Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) (1934—1945).

Светлая улыбка бродила по ее лицу. Была весна. Они с Иваном шли по набережной Волги. Иван обнимал ее. Она смеялась, и счастьем ее не было границ.

На другой день Николай вернул конверт с деньгами, предназначенный для профессора Рихтера. Сказал, что профессор взял только небольшую сумму, которая понадобилась на дорогостоящие дефицитные лекарства. Анна Давыдовна бросила конверт в ящик, где лежали раньше часы мужа. Завтра непременно побежит в ломбард выкупать свои драгоценности. Но это не радовало.

Взглянув на скорбное лицо Анны Давыдовны, Николай воскликнул с каким-то безрассудным оптимизмом: «Анечка, вот мы решили проблемы твоей дочери. И дальше все будет хорошо. Все будет хорошо». И Анна Давыдовна вдруг поверила ему. Как верила до сих пор, что товарищ Сталин все делает правильно.

Политрук

9 ноября 1941 года командующим 51-й армии по распоряжению Сталина в Керчь направлен Герой Советского Союза Маршал Георгий Иванович Кулик. Войска, которые он получил в подчинение, находились в бедственном состоянии — большинство дивизий не было укомплектовано. В дивизиях имелось лишь по 200—300 бойцов. Удержать позиции в этой ситуации было невозможно, и Керчь сдали врагам. Войска отступили из Крыма и приготовились к обороне на Таманском полуострове. Но и здесь состояние армии было совершенно безнадежным. И опять отступление. 20 ноября немцы вошли в Ростов-на-Дону.

Маршал Кулик был отозван в Москву. Он не выполнил приказа «Удержать Керчь во что бы то ни стало». В нарушение приказа Ставки отдал 12 ноября 1941 года «преступное распоряжение» об эвакуации войск из Керчи.

Маршал Кулик¹ был предан суду. Лишен звания Героя Советского Союза, всех наград и звания Маршала.

«Преступление Кулика заключается в том, что он никак не использовал имеющиеся возможности по защите Керчи и Ростова, не организовал их оборону и вел себя как трус, перепуганный немцами, как пораженец, потерявший перспективу и не верящий в нашу победу над немецкими захватчиками», — из судебного решения.

Однако уже в апреле 1943 года благодаря поддержке Г.К.Жукова экс-маршал получил должность командующего 4-й гвардейской армией с одновременным присвоением звания генерал-лейтенанта.

Да чего уж там говорить, после войны Кулик привез с фронта пять легковых машин, незаконно использовал красноармейцев на строительстве личной дачи под Москвой. Особенно было возмутительно, что из Германии Кулик привез двух племенных коров, когда весь советский народ голодал.

Но все это было потом. А сейчас — конечно, рядовые солдаты и офицеры о «преступлениях маршала Кулика» ничего не слышали. Но до особиста Стрелкова и политрука Троицкого кое-что дошло. Им было совершенно ясно: измена. Поэтому мы и отступаем. И ясно, что подобные рассуждения не для чужих ушей. Можно только шепотом. И только между своими. С теми, кому доверяешь как самому себе. Доверительность особиста, признаться, тяготила Троицкого. А если точнее — настораживала. Но он всеми силами старался этого не показывать.

«Да, отступали. Но вскоре выбиты были фашисты из Ростова и Керчи. Но уже без маршала Кулика. И мы с тобой не только свидетели, но и участники этих событий.

¹ 23 августа 1950 года Г.И. Кулик приговорен к расстрелу вместе с генералами В.Н.Гордовым и Ф.Т.Рыбальченко «по обвинению в организации заговорщической группы для борьбы с Советской властью».

И потому со всей очевидностью можем утверждать: налицо преступные действия Кулика», — особист Стрелков с эдаким прищуром уставился на политрука Троицкого. И зубы оскалил, как цепная собака. Александр в знак согласия кивает головой. А голос Стрелкова уже звучит назидательно. Будто школьный учитель для первоклашек: «А вот солдатам говорить надобно, что отступление — это стратегический маневр, чтобы заманить врага в ловушку и уничтожить». Александру скучно слушать. Он каждый божий день, чуть наступает затишье, бойцам это твердит, хоть и сам не во все верит. И опять назидательный голос особиста: «Немцев взяли в плен. Расстрелять бы их всех подряд. Соглашения Женевской конвенции хотя и не подписаны СССР, но мы не можем позволять зверства с пленными, как немецкие фашисты».

О зверствах фашистов над пленными пока были только слухи. Никто еще из немецкого плена не возвращался. Но и так всем ясно — где фашисты, там и зверства.

А особист Стрелков грамотный ведь, стервец. Ему бы не в Особом отделе служить, а в Политотделе.

А вот политруку Троицкому все-таки пришлось расстреливать. Приказ командира части.

Стрелков сказал, что эти пленные — агенты Абвера. Русские из белогвардейцев.

«И почему их расстреливать? Знать, выжали из них все. Или ничего не выжали. Но в любом случае этих предателей надо расстреливать», — это уже негласные рассуждения политрука Троицкого.

Ноябрьское утро выдалось сырым и промозглым. «Винтовки взять наизготовку», — командует политрук. В шагах двадцати от строя красноармейцев стоят трое мужчин в немецкой офицерской форме. Двое совсем молодые. Третий — лет за пятьдесят, седой. И этот третий чем-то привлек внимание Троицкого. Его внешность казалась ему странно знакомой и близкой, словно что-то их связывало. Что-то нечеткое, размытое, будто из далекого прошлого, но вроде как родное. «Родное», — от этой случайной мысли стало жутко. И Александру показалось, что этот мужчина слегка улыбнулся ему. А в ушах нарастает гром колоколов. От этого гула Александр готов схватиться за голову. Сквозь этот грохот вдруг прозвучал почти внятно голос седого мужчины: «Сынок». «Пли», — отчаянно прокричал политрук Троицкий, уже не слыша себя.

В полутемной избе политрук Троицкий и особист Стрелков пьют разбавленный спирт. Хозяйка избы достала из подвала кислой капусты. Открыта банка тушенки. Сухари из вещмешка. Приняв несколько глотков спиртного и прожевав твердокаменный сухарь, старший лейтенант Стрелков быстро захмелел. Уставился на Троицкого. «Вот смотри, политрук, заняли мы эту позицию вчера. И надо бы по всем правилам немедленно рыть окопы. А начали рыть их только сегодня, может час назад», — говорит он. «Ведь из тяжелого боя вышли. Надо бойцам отдохнуть», — неуверенно возражает Троицкий. «На том свете отдохнешь. Вот сейчас начнут немцы палить. Будешь прятаться под бабкиной кроватью? Вон она сидит на лавке у печки. Проси разрешения, — Стрелков поворачивается к хозяйке избы: — Ну, хозяйюшка, мы вдвоем с политруком поместимся под твоей кроватью?» — «Что вы, милые, я вам на сеновале постелю. Там тепло», — хозяйка явно не поняла глубокую мысль особиста.

«А что касается твоего утреннего дела, с врагами народа — иначе нельзя. Вот наше дело — разоблачать. А уж эту, — Стрелков будто споткнулся на каком-то слове, рыгнул, прокашлялся. Невнятно прохрипел: — ...эту, — он опять поперхнулся, — остальную, нужную работу поручают, нет, не мы. Это там, — Стрелков мотнул вверх головой, — поручают, к примеру, тебе, товарищ Троицкий...»

Александр Троицкий пристально смотрит на особиста, и ему кажется, что Стрелков специально разыгрывает из себя пьяного. И поперхнулся на слове «работа», потому что пришлось проглотить слово «грязная».

— Я это делал первый раз, — будто оправдываясь, проговорил Троицкий.

— Да ладно. На войне как на войне, — кажется, нечто человеческое прорезалось в особисте. — Да, ты знаешь, — продолжает он, — у этих подонков, которых ты вчера шлепнул, у них такие наши русские фамилии: один Иванов, второй Сидоров.

— А третий? Который седой? — неожиданно вырвалось у политрука Троицкого. И тут же что-то сжалось в нем.

— А чего это тебя старик заинтересовал? Фамилию его как-то запомнил. Особист профессионально вглядывается в смущенное лицо Троицкого. — Что это ты так смешался вдруг? Я непременно посмотрю еще раз его документы. Похоже, что за тобой какой-то грешок водится. А? — старший лейтенант хохотнул: — Что-то ты, Троицкий, мне не нравишься нынче».

Где-то рядом слышатся взрывы. Вот взрыв перед домом, и оконное стекло вдребезги разлетается по полу. И в кружки с недопитым спиртом с легким звоном сыплются его осколки. Особист и политрук выбегают на улицу. Шинели забыли в избе. Документы все в гимнастерках. На улице снежно, морозно. А холод — не тетка. Шубу не выдаст. Но сейчас не до шубы. Жизнь спасать надо. Эти мысли искрой проскочили в голове Александра, не оставив там отметины. Особист и политрук бегут по деревенской улице, а вслед им крик хозяйки: «Мальчики, куда же вы! В подвал ко мне, в подвал!» А «мальчики» ничего не слышат. Их настигают взрывы. И невозможно вернуться в сторону окопов, что на окраине деревни. Упасть в эти недорытые ямы, где уже лежат мертвые солдаты, зарыться в землю рядом с ними. Может, эти убитые спасут от осколков? Стрелков и Троицкий несутся в толпе красноармейцев. «Ладно этот необстрелянный особист Стрелков. Но, он-то, Троицкий, прошел финскую компанию и так глупо бежит от снарядов». Но эти трезвые мысли, мелькнувшие было в голове политрука, смешались в панике и страхе. Где здесь укрыться от вражеских снарядов? За забором, за стенами избы? Но эти деревянные разнесет вдребезги. Разнесет вместе с ним и особистом Стрелковым, который бежит впереди. Толпа становится все реже. Если оглянуться, улица усыпана мертвыми телами. Вот горящий танк. А рядом развороченный грузовик и трупы бойцов вокруг него. Вот сейчас ухватиться бы за борт отъезжающей машины. Вон она, полная солдат. Десять шагов, кажется, до нее. И солдаты машут им руками. Что-то кричат, похоже: «Скорей, товарищ политрук!» Снаряд веером взрывает землю точно перед Стрелковым. И он падает навзничь, широко раскинув руки. Это последнее, что видел Александр Троицкий.

Очнулся он уже в госпитале. Врач сообщил, что у него тяжелая контузия. Был без сознания почти неделю. Александр слушает врача и с трудом понимает его речь. Пожаловался врачу на сильную головную боль и тошноту. Врач что-то ему ответил, но понять его было трудно. Уши будто заложены ватой. Александр чуть приподнялся на постели. И как ему показалось, завопил. Но на самом деле он лишь прошептал, что сильно болит голова. Но этого было достаточно, чтобы без сил упасть на подушку.

Врач наклонился над ним и прокричал ему на ухо: «Головные боли и тошнота при контузии — это нормально». Александр услышал только последнее слово. И оно его возмутило. «Что значит нормально!? Голова раскалывается — это нормально!» — заорал он. Но врач его вопля не услышал. Видел только его широко открытый рот и дрожащие губы. Он позвал медсестру. Велел сделать Троицкому успокоительный укол. «Сегодня вечером повторить», — наказал медсестре. Уколы делали Александру еще несколько дней. В полубреду он ел пищу. Как в тумане видел кого-то в белом халате, кто кормил его с ложечки. А однажды он проснулся и с удивлением обнаружил, что туман рассеялся. Голова светлая и ясная и не болит. Некоторое время он лежал неподвижно и прислушивался к себе. «Вам уже лучше?» — слышит он голос, похожий на райскую музыку. Повернулся на этот мелодичный зов. Перед ним сидела молоденькая медсестра. И еще он заметил, что лежит в одноместной палате. «Вам уже лучше?» — повторила медсестра. Александр чувствует, что рот его растягивается в улыбке. Правда, еще не понимает почему. То ли оттого, что голова не болит, то ли оттого, что

перед ним симпатичная девушка. «Готов к бою», — произнес он и удивился своему звонкому голосу. «Ну, к бою еще рановато. Но прогулки по коридору доктор, наверное, разрешит», — девушка улыбается. «А ведь привезли вас в страшном виде. Все лицо и голова в крови. Но никаких ранений. Это кровь хлестала из ушей, из носа. Без сознания были больше недели», — продолжает она. Александр молчит и любуется чернобровый красавицей-медсестрой. Девушка замечает его восхищенный взгляд. Щеки ее загораются румянцем. Она кладет свою ладонь на лоб Троицкому. И Александр замечает, что она гладит его голову.

«У вас температуры нет», — произносит она. Троицкий осторожно берет ее руку. Кладет снова себе на лоб. «Такая процедура меня и без лекарств вылечит», — Александр с усилием улыбается так, что сводит скулы. Медсестра освобождает свою руку. Строго говорит: «Сейчас вам нельзя волноваться».

Александр хочет сказать, как же не волноваться, когда такая девушка. Но медсестра уже покидает палату. И вот, совсем некстати, приспичило в туалет. Приподнялся, осторожно сел на кровать. Встал, и голова закружилась. Ухватился за стул и, двигая его перед собой, доплелся до двери. Выглянул в коридор. По коридору прогуливались ходячие раненые. Все в серых длинных халатах. «Эй, — крикнул Александр, — мне бы санитарку». Перед ним стоит пожилая женщина. Видимо — нянечка. «Чего тебе, милый?» Троицкий начинает объяснять, что ему нужен халат, не в кальсонах же шастать по коридору. А про туалет сказать стыдно. Но нянечка уже догадалась, что ему нужно. «Я сейчас утку и горшок принесу», — говорит она. «Нет-нет, — почти кричит Троицкий, — я сам. Дайте только халат». Нянечка улыбнулась, покачала головой. Через несколько минут Александр идет по коридору. Качает из стороны в сторону. Маленькая нянечка, ему чуть до плеча, старательно поддерживает. А он боится, что упадет и задавит эту старушку. Старушка смеется, мол, и поболее великанов водила в туалет. И жива, однако.

На следующий день появилась красавица-медсестра. Александр заранее подготовил вопросы, которые надо ей задать. Во-первых, как звать, потом представиться самому, мол, он политрук Троицкий Александр. И еще спросить непременно, почему у него отдельная палата? Он же не генерал. Вот здесь можно посмеяться, мол, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И еще много чего хотелось сказать. А вот и медсестра сейчас перед ним, но слова все будто испарились. И первое, что говорит она: «Поздравляю, вы уже ходячий. Но если вдруг у вас случилось нечто непредвиденное...» Тут она засмушалась. И Троицкий понял, что она уже знает, что нянечка водила его в туалет. Так что с шутками насчет генерала придется погодить. А красавица-медсестра эдак строго заявляет, чтоб он вызывал ее, Красавину Галину Ивановну. И от этой, как кажется Александру, напускной строгости Галина Ивановна становится даже очень как хороша. И Александру хочется вскочить на вытяжку во фронт. Прокричать: политрук полка Александр Троицкий.

А Галина Ивановна продолжает: «Итак, Александр Фёдорович, переходим к процедурам».

Ну никак нельзя пропустить такой случай: «Переходим к водным процедурам, — голосом диктора радио произносит Троицкий, и уже паясничая сообщает: — Но у меня из пляжных принадлежностей только кальсоны». О как приятно, когда шутку понимают такие девушки. Галина Ивановна смеется: «Насчет пляжа — это после войны. А сейчас будем учиться ходить».

И вот политрук Александр и Галина Ивановна идут по госпитальному коридору. Для политрука Галина Ивановна уже Галчонок, но называть ее так, пожалуй, преждевременно. Галина Ивановна держит под руку Александра. И он чувствует, как его водит из стороны в сторону. Но под своим локтем ощущает сильную руку медсестры. Мужики в больничных халатах бросают на него завистливые взгляды. А один хромой парень совсем обнаглел. Дернул за рукав Троицкого. Проговорил с

подленькой улыбочкой, мол, дай на полчаса свою красотку. Александр сделал страшное лицо, погрозил ему кулаком. А тот захохотал: «Да только пройтись с ней по коридору. А ты что подумал?!».

У Александра слегка кружится голова. Галина Ивановна плотно прижимает к себе контуженого политрука, чтоб он не упал. А он чувствует сквозь свой тяжелый халат ее горячее бедро. Он смотрит на свою медсестру, ловит ее взгляд, и ему кажется, что она все понимает.

И вот он снова в своей палате. Галина Ивановна объявляет, что рано ему ходить самому в столовую. Надо еще с недельку погулять по коридору. «Надеюсь, меня вы будете выгуливать, Галина Ивановна? — спрашивает политрук. И тут же торопливо, пока Галина Ивановна не ушла: — Можно мне вас называть просто Галя?» «Можно, Александр Фёдорович, — улыбается Галина Ивановна. — А выгуливать вас — я постараюсь». — «И еще, — заторопился Троицкий, — чем я заслужил отдельную палату?» Галя становится серьезной: «Ой, Саша, я не позавидовала бы тем раненым, кто находился с вами в одной палате. Вы кричали, стонали. Ночью падали с кровати». Из всей этой длинной фразы Александр услышал только то, что его назвали «Саша».

Троицкий лежит на кровати, и вдруг ему приходит в голову какая-то беспокойная мысль: ведь он написал жене только одно письмо в первый месяц войны. Получил вскоре от нее ответ. Она писала о сыне, что он тяжело болен. И больше от нее писем не было. Наверное, не доходили. Все время с боями отступали. Было не до почты. Сейчас конец зимы. Александр торопливо роется в прикроватной тумбочке. Там его бумаги и воинские документы. Вот и карандаш нашелся. Пишет: «Дорогая Верочка». И вдруг сознает, что Верочка ему уже не дорогая. Ее образ как-то затерся. И его заслоняет чудный лик Галины Ивановны. Но он не зачеркивает слово «дорогая». Пишет, что были тяжелые бои. Сейчас ранен. Был без сознания месяц. Ну, приврал немножко. Где неделя, там и месяц. Сейчас поправляется. Дальше рассказывает, как воевал. И тут политрук в нем проснулся: об отступлении ни слова. Бьем немецких фашистов — это крупными буквами. Уже сложил письмо треугольником, вдруг вспомнил, что не спросил ничего про сына. Развернул письмо. Дописал опять крупными буквами: «Как Сашенька?»

И вдруг страшная мысль: жив ли сын? Держась за стены, вышел в коридор. Отдал треугольник пробегавшему мимо медбрата.

На другое утро не смог встать. Принесли завтрак: овсяную кашу и чай. Съел с трудом одну ложку, замутило. С трудом вытащил из-под кровати горшок, который ему на ночь всегда оставляют санитарки. Вырвало чем-то горьким. В голове его гремит набат. Но Александр не понимает, о чем его предупреждают. Как сквозь густую дымку, он видит медсестру Галю и доктора. «Рецидив, — говорит врач, — расстройства при контузии часто бывают обратимы».

Опять полусон, полуявь. И рука Гали на его лбу. Ему кажется, что он целует эту руку, ходит по коридору с Галей и чувствует ее горячее бедро.

Что-то сместилось в его голове. Галя ему говорит, а он отвечает невпопад. Вот перед ним доктор. Он спрашивает Троицкого: «Какое у вас воинское звание?» Александр пожимает плечами: «Майор, — и подумав: — может, подполковник». Троицкий ловит печальный взгляд Гали. Улыбается ей: «А что, Галина... — замаялся на мгновение. Да, забыл ее отчество, — разве у вас нет моих документов? Посмотрите — там все написано». Вдруг заволновался: «А где мои документы?» — «Они в Вашей тумбочке. Показать?» — спрашивает доктор. «Нет-нет», — застеснялся Александр. «Как звать вашу жену?» — доктор пристально смотрит на Троицкого. Тот жует губами и молчит.

«Амнезия, — тяжело вздыхает доктор. — А как меня звать, может, вспомните?»

Александр в смятении смотрит на медсестру. Кто же это? Ведь знакомое лицо. Медсестра называла фамилию доктора? Какая-то звериная фамилия: Волков, Зайцев,

Соколов. «Вот, Соловьев!» — выпаливает Троицкий. «Да. Я доктор Савельев, — говорит врач и, помолчав, обращается к медсестре: — Здесь нужен психиатр».

Старенький худенький человечек. Белый халат все время сползает с его плеч. Видны погоны с полковничьими звездами. Халат явно мешает ему.

— Товарищ полковник, давайте ваш халат, — говорит медсестра Галя.

— Да-да. Сделайте милость, — полковник сбрасывает с плеч халат, передает его Гале. Та помещает халат на вешалку, что прилажена у двери. Сейчас там висит серый халат контуженого политрука Троицкого.

— Это ваш больной? — полковник обращается к медсестре Гале.

— Да, — Галя кивает.

— Во-первых, желательно создать для больного теплую, доброжелательную обстановку. Ненавязчиво рассказывать человеку о событиях его прошлой жизни. Воспоминания должны быть только позитивные, стараться избегать отрицательных эмоций. Читать с ним книги. Предлагать, чтоб он рассказал о прочитанном. Но ни в коем случае не заставлять. Никакого давления на психику. Медикаменты я выпишу. Если в вашей аптеке чего-то нет, обращайтесь ко мне.

Полковник кивает в сторону доктора Савельева.

— Так точно, товарищ полковник, — чеканит доктор Савельев.

Все это время Александр Троицкий лежал на постели и безучастно смотрел на врачей. Когда медики удалились из палаты, Галя под села к нему на койку.

— Саша, это светило психиатрии. Полковник Шварц.

Александр слышит голос медсестры Гали, и ему становится хорошо.

То ли медикаменты доктора Шварца помогли, или медсестра Галя создала ту доброжелательную атмосферу, которая стала лекарством для контуженой головы политрука. Были рассказы из прошлой жизни. Галин очень короткий: в Архангельске она окончила медицинское училище. Оттуда забрали в армию. Вот и весь сказ. А история Александра должна быть длинной. Его и брата усыновил доктор Троицкий Фёдор Игнатьевич. Мать свою он не помнит, она умерла рано. Отец тоже куда-то исчез, когда ему было лет пять. При слове «отец» в голове Троицкого тяжко загрохотал колокол. Его звук эхом повторяется многократно. Удары этого колокола мучительны и зловещи. Александр считает во весь голос: «Один, два, три». И тишина. Галя испуганно смотрит на Троицкого. Шепчет: «Саша, что с вами?» — «Поминальный колокол», — Александр трясет головой, старается избавиться от тяжкого наваждения: перед его глазами возникает тот седой — в немецкой форме. Троицкий не может никак забыть его улыбку. И улыбка седого вдруг превращается в смертельный оскал. По лицу Троицкого течет пот. Галя вынимает из своего кармана салфетку. Осторожно вытирает его лицо. Он ловит ее руку и целует. Закрывает глаза и проваливается в пустоту. Сколько прошло времени — час или вечность?

И вот опять перед ним рука Гали. Он заворачивает рукав ее халата почти до плеча. И целует ее обнаженную руку. Галя сидит неподвижно. Потом вдруг хватает голову Троицкого и как-то отчаянно целует его в губы.

Несколько дней он не видел Галю. Приходили другие медсестры. С ними он вышагивал по коридору. Лечебные прогулки. Он нарочно качался при ходьбе. Медсестры озабоченно говорили, что по их практике по времени он должен быть уже здоров. А здесь, право, все очень странно затянулось. И доктор Шварц, мы знаем, мертвого подымает. Такой волшебник. Галя пришла в его палату ночью. Александр не спал, будто ожидал ее.

Потом они лежали молча. Александру почему-то казалось, что на лице его сейчас

счастливая и глупая улыбка. «Как тебе?» — тихо спросил он. «Я думала, будет больно. А было хорошо», — слышит он ее шепот.

Галя повернулась к нему, поцеловала и тихо попросила: «Встань с постели. Я на минуту зажгу свет и сменю простынь». Вспыхнула тусклая лампочка. Галя успела накинуть на себя халат. «Отвернись, бесстыдник», — слышится ее голос. Александр стоит в армейских кальсонах. И вид его совсем неприглядный. Он бросает взгляд на свою постель, видит красное пятно на ней. И до него доходит: «Он первый». Галя быстро меняет простыню и гасит свет. И опять она в его объятьях. «Я первый», — шепчет он Гале. «Первый, первый», — Галя целует Троицкого. И заходится негромким смехом. В смехе ее Троицкому слышится звук волшебной флейты.

А потом были короткие и длинные ночи. Короткие, когда она осторожно высвобождалась из его объятий, шептала: «Я нынче на дежурстве». И ускользала, как ночная бабочка.

Слухи, однако, доползли до начальственных ушей. Александр заметил, что доктор Савельев смотрит на него несколько подозрительно. И с Галей Савельев стал неумеренно строг. Доктор Савельев долго не решался на разговор, но видно, пришлось. Отозвал медсестру Галю в коридор, холодно спросил: «Что у тебя с Троицким?» «Да-да-да», — с каким-то восторженным отчаянием произносит Галя. Доктор печально качает головой:

— Как бы ты потом об этом не пожалела.

— Я не хочу думать о потом. Я сейчас счастлива, счастлива, — Галя громко хохочет.

Доктор оглядывается по сторонам. «Этой девчонке сейчас море по колено. Слава Богу, сейчас никого рядом нет», — сокрушенно думает он. И вдруг ловит себя на мысли, что он завидует этому контуженному политруку.

Троицкому пришло письмо от жены. Вера писала, что очень скучает по нему. Ждет не дожидается его приезда. Рада, что он выздоравливает. Папа достал лекарства. И Сашенька поправился. Александр со странным безразличием прочитал письмо, сунул его в карман халата и тут же про него забыл.

Доктор Савельев вдруг заторопился с выпиской Троицкого. Это Александру показалось, что «вдруг». Впрочем, он действительно чувствовал себя совершенно здоровым. А с Галей все не удавалось увидеться наедине. Лишь бумажку со своим домашним адресом в Архангельске Галя передала Александру.

Когда получал документы о выписке, обратил внимание на двух теток. Сидели они на лавке за его спиной. В черных ватниках, надетых на белые халаты. Значит госпитальные санитарки или уборщицы. Слышит их негромкий разговор. Одна говорит: «Галька-то наша вот с этим связалась, дуреха». Другая ей вторит: «Ничего не попишешь. Нынче у молодых на мужиков охота». Мужику Троицкому хочется вернуться к этим теткам и послать матом куда подальше. Но политрук в нем командует: «Молчать. И строевым — по плацу!»

Галя догнала его, когда он шагал по парковой аллее, что уходила от госпитальных зданий. Она была в халате. Было довольно холодно, хотя под апрельским солнцем уже звенела капель. Александр расстегнул свою шинель. Полами шинели накрыл свою тоненькую хрупкую девочку. Плотно прижал ее к себе. Они стоят под вековой липой. Толстый ствол защищает их от холодного ветра. Александр закрывает глаза, и мерный благовест звучит в нем. «Ты слышишь звон колоколов?» — шепчет он. Галя подымает на него глаза.

— Слышу, — шепчет она.

— Благовест — это благая весть.

— От тебя, — Галя смотрит на Александра. На глазах ее слезы.

Троицкому вдруг становится трудно сказать: «Да». Он лишь слегка кивает головой.

Согласно Приказу № 354 от декабря 1941 года Народного комиссара обороны СССР товарища Сталина «необходимо обеспечить возвращение выздоровевших раненых и больных гвардейцев и курсантов обратно в свои части».

Но ко времени выздоровления политрука Троицкого А.Ф. его войсковая часть уже не существовала. Троицкий после тяжелой контузии по состоянию здоровья был направлен в тыловую часть. Там «прошел курс молодого бойца», — как он обычно говорил своим соратникам. Его готовили на должность начальника химзащиты авиационного полка на Белорусском фронте. Так что пришлось осваивать теорию и практику химзащиты. Должность майорская. Почему не на прежнюю должность политрука — вопросов не возникало. Приказ есть приказ. Может, начальство посчитало, раз контуженый — ляпнет что-нибудь непотребное. А глаза и уши «у кого надо» всегда начеку. Потом морока — разбираться с ним. «Политработа — дело тонкое». Троицкий даже представил, как при этих словах его будущий начальник с сомнением качает головой.

Правда, эти незрелые мыслишки в голове у бывшего политрука долго не задерживались. К удивлению Александра, командование предоставило ему отпуск для встречи с семьей. Три дня. Два дня на дорогу туда и обратно. И день, а может ночь, на свидание с женой. Так и было сказано: «Ночь на свидание с женой». Мелькнула глупая мысль: «Может, свидеться с Галей?» Но командир части строго предупредил: отметить в комендатуре Ярославля.

Военврач

Зимой сорок восьмого года Гришу нашли наградные документы. В сорок пятом, как и все участники войны, он был награжден медалью «За победу над Германией». И больше никаких наград капитан медицинской службы Григорий Крамер вроде и не заслужил.

А тут награда: Орден Красного Знамени и медаль «За отвагу».

Вызвали в военкомат, вручили воинские награды со скромными почестями. Документы датировались июнем сорок второго года.

И только через шесть лет и после получения наград Гриша вроде был готов рассказать жене, что произошло с ним в феврале 1942 года. Но опять не решился. Зачем расстраивать молодую жену этими историями? С людьми на войне случалось и похуже. Сейчас и вспоминать об этом страшно. Тогда молодой был, не верил в смерть. Но все это не вычеркнуть из памяти.

Был февраль 1942 года. Очередное отступление, поспешное и неорганизованное. Прибыли в село. Село было странно безлюдным. Но об этом не хотелось сейчас думать. Надо было где-то срочно размещать раненых. Искалеченные бойцы лежали на телегах, в кузовах машин. Некоторым повезло — они находились в автобусах. Помещение под госпиталь нашли быстро — пустующее здание школы. Здание не отапливалось, видимо, всю зиму. Раненых пришлось укладывать прямо на холодном полу в той одежде, что была на них. Кроватей и матрасов не было, даже посуды не было, только солдатские котелки да ложки.

Прямо за школой начиналось поле. И там стояли занесенные снегом скирды, сметанные, видимо, еще в июне. Верно, рачительные хозяева проживали в этом селе. Скирды были накрыты брезентом, поэтому сено оставалось сухим. И нынче его использовали как подстилку для раненых. И когда на другой день привезли для

госпиталя наволочки и чехлы для матрасов, медперсонал с утра до ночи набивал их сеном и раскладывали на них больных и тяжелораненых. Раненые были беспокойные, метались, бредили. Одеяла привезли несколько позже. При школе обнаружился сарай с заготовленными дровами, ими пытались прогреть огромное здание. В одном из классов школы хирурги начали проводить операции. В отдельных помещениях лежали тифозные. Вошь беспощадно косила раненых.

Тем временем фронт приближался. Уже были слышны орудийные залпы. Прошло чуть больше недели, только привели в порядок раненых, как опять поступил приказ отступить.

Школа снова опустела. Остались только тела умерших и тифозные больные. Откуда взялись тифозные вши? Во время предыдущего отступления к войсковой части присоединился вышедший из окружения отряд красноармейцев — изголодавшиеся и измученные вшами солдаты. Видно, они и принесли заразу. Произвести санобработку этих бойцов не удалось. Даже бани воины не дождались. Их тут же отправили на передовую. А там мясорубка.

Только однажды капитану Крамеру удалось организовать профилактическую обработку солдат и офицеров. Это произошло в то короткое время, когда госпиталь считался тыловым. Тогда в часть на грузовике была доставлена специальная установка. Вошебойка — так среди солдат назывался этот агрегат. Пока солдаты мылись в бане-палатке, одежда обрабатывалась перегретым паром. Эта обработка избавляла красноармейцев от вшей и гнид. Правда, ненадолго. Дней на двадцать.

А сейчас прифронтовой госпиталь срочно эвакуируется. Особисты носятся с пистолетами по школе, командуют санитарями: «Срочно! Срочно! Этого брать. Этого оставить. На всех транспорта не хватит». Напрасно начальник госпиталя капитан медицинской службы Григорий Крамер требовал от начальства дополнительного транспорта. Его никто не слушал. «Это мои больные, я врач инфекционист-эпидемиолог. Я не позволю их оставлять на смерть!» — надрывая глотку, кричал Крамер. А ему тихо и со зловещим прищуром говорил особист: «Сейчас не позволять буду только я. У нас нет отдельного транспорта для тифозных. А вы, Крамер, — он с подчеркнутой неприязнью произносит фамилию Григория, — хотите всех наших раненых заразить тифом!» — уже не сдерживая себя, орет особист. Но Григорий не слышит особиста. Он вдруг вспомнил, что в школьном дровяном сарае лежали большие санки. Вероятно, санки для детей. Деревенская затея — с горки на санях. Дети — кто сидит, кто лежит. Все вповалку. С хохотом в сугроб. Подумал об этом, сердце горько зашлось. Где теперь эти дети? Кто из них еще жив?

Крамер выбегает на улицу. На выходе из школы стоит группа людей. Это госпитальные санитары. И среди них несколько ходячих раненых, помощники санитарам. Они растерянно оглядываются. Увидев начальника госпиталя, бросаются к нему:

— Товарищ капитан, как же мы? Все уже уехали.

— Санки, санки из сарая. Погрузить тифозных и вперед! — приказывает Крамер.

Он ждет, пока последнего тифозного солдата положат на санки. Стоит около школы. В конце улицы появляется группа красноармейцев. Не больше взвода под командованием лейтенанта. «Лейтенант, ко мне!», — с надрывом кричит капитан Крамер.

— Слушаю вас, товарищ капитан, — лейтенант подбегает к Крамеру.

— Видите, санитары на санях везут раненых. Обеспечьте доставку их в эвакуированный госпиталь, — строго говорит капитан.

— Слушаюсь. Взвод, бегом!

Лейтенант еще успел оглянуться, помахав рукой капитану Крамеру. Григорий видел, как солдаты перехватывают у санитаров веревки саней. И сани скрываются за поворотом. Григорий Крамер возвращается в свой кабинет. Надо забрать документы.

Пришел как раз вовремя. В кабинете связисты собираются разбирать телефонную станцию. Всего-то телефонная станция: два деревянных ящика. И тут звонок из штаба полка. Сообщают, что выслали машины, чтобы забрать оставшихся в госпитале больных бойцов.

«Ну всё. Кажется, можно вздохнуть. Тифозными займусь на новом месте», — уже спокойно подумал капитан Крамер.

Пока бегал на взводе и холода не чувствовал. Вышел на улицу, и сразу лютый мороз не заставил себя ждать. Крамер поднимает воротник шинели. Вглядывается вдаль. Метель метет. Снег забивает глаза. И что-то ледяное воткнулось в шею. «Дуло пистолета», — спокойно подумал он.

«Ну что? Не успел сбежать к фашистам? Я за тобой давно наблюдаю. Заразил раненых бойцов тифом. А теперь и здоровых решил заразить!» — за спиной стоит особист, тот, с кем пару часов назад спорил Григорий.

А из-за поворота, где скрылись недавно санки с тифозными солдатами, выезжает штабная легковушка «ГАЗ» под брезентовой крышей. Тормозит около школы. Из машины выскакивает солдат: «Товарищ Седых, что же вы? Я за вами», — обращается он к особисту. «Там есть еще место?— спрашивает особист солдата, — если нет, я этого здесь порешу», — Седых кивает в сторону Крамера. «Есть, конечно, — испуганно отзывается солдат, — но еще мне приказано доставить в штаб доктора Крамера. Где он?»

«А он перед тобой. Значит, там уже знают о вредителе и предателе Крамере», — Седых удовлетворенно улыбается. «Ну, трогай», — приказывает он солдату. Капитан Крамер и Седых усаживаются в машину на заднее сиденье. И все время пути Седых держал пистолет, приставленный под ребро доктора Крамера. Вот они проехали мимо саней с больными солдатами. Солдат перекладывали в кузова полуторок. Григорий хотел высунуться из машины и крикнуть: «Я здесь!». Но Седых прижал его к сиденью, ударил локтем в лицо. Из носа потекла кровь.

Григорий закидывает голову назад, прижимает к носу рукав шинели. Вроде кровь перестала течь. Замелькали кирпичные дома. Кажется, небольшой городишко. Григорий удивлен собственному спокойствию. Верно, столько видел смертей, что и своя стала уже не страшна?

Машина начинает тормозить. Отъехали всего-то километров пять. Если в этом селении дожидаться приговора, то долго ждать своей пули не придется. Судя по военной обстановке, через день-другой и этот городишко отдадут немцам. Знал, вернее, слышал, что при отступлении с арестованными разговор короткий. Военный трибунал не очень церемонится: лепят без разбора пятьдесят восьмую статью — и расстрел.

Нет, машина опять прибавила ходу. Верно, в штаб армии везут. Еще бы, такого жука разоблачил, хотел весь полк заразить тифом! Товарищ Седых, поди, уже дырочки на гимнастерке просверлил для ордена. Григорий Крамер произвольно хмыкнул.

Особист Седых вскинулся, как петух, от которого курице захотелось сбежать. «Лыбсья, лыбсья. Уже недолго осталось», — бурчит он. Григорий неловко пошевелился. Что-то под шинелью мешает? Конечно, кобура с пистолетом! «Седых, наверное, специально оставил мне пистолет, чтобы я застрелился, — какая-то неразумная мыслишка шевелится в голове Крамера.— Тогда и доказывать ничего не надо. Баба с возу — кобыле легче. А вот накося — выкуси! Не дожدهшься!» И рот невольно растягивается в идиотской улыбке. Седых напряженно уставился на доктора Крамера. «От страха башка поехала, — полагает особист. — Про соучастников дознаваться будет сложней».

Еще какое-то селение проехали. Машина останавливается около кирпичного сарая. А за сараем вдоль улицы высокий бетонный забор. «Вот и моя тюрьма», — подумал Григорий, и ему стало страшно.

Опять под дулом пистолета вышли из машины. Около железных дверей сарая стоит солдат с винтовкой. Седых показывает солдату свой документ. Солдат почтительно берет под козырек.

«Шинель расстегнуть», — приказывает особост Седых. Григорий стоит перед ним в расстегнутой шинели, заложив руки за спину. Особист кивает в сторону часового: «Снять с него ремень и кобуру с пистолетом».

Тяжело заскрипели железные двери. Резкий толчок в спину, и Григорий Крамер оказывается в полутемном помещении. Небольшие окна забраны решетками. В углу помещения на ящике сидит мужчина. На плечи его накинута шинель. Григорий всматривается в лицо мужчины, видит, что это совсем молодой парень. Лет двадцати пяти.

— За что?— раздается еле слышный голос.

— Ни за что, — также тихо отвечает Крамер.

— И я ни за что, — рыдающий голос.

И потом торопливый рассказ: «Лейтенант Бобров, командир артиллерийской батареи. Что?! Я должен был сдаваться немцам? Снарядов не подвезли. Чем стрелять?! Чем стрелять?! — эти возгласы прерываются детским плачем: — Мы оставили позицию, чтобы не попасть в плен. А теперь я виноват, что немцы прорвали фронт на нашем участке... Теперь я предатель. Я изменник...»

За дверями загремел засов.

— Скажите, что я не предатель. Моим родителям. Бобров Пётр Иванович. Двадцать шесть лет. Это я, я. Ленинград, Садовая 12, квартира 3... — отчаянно кричит лейтенант.

Двое солдат подхватывают под руки Боброва и выводят его из сарая. Металлическая дверь с грохотом захлопывается. Григорий приникает к зарешеченному окну, которое выходит во двор. Вот появляются солдаты. Они волокут к стене лейтенанта Боброва. Руки его связаны за спиной. Вот Бобров у стены. Его глаза зажмурены. И рот широко раскрыт, будто в отчаянном крике. Но крика не слышно. Григорий слышит чей-то голос. Вроде объявляет приговор. Но того, кто объявляет, не видно. Григорий слышит только последнюю фразу, которую выкрикивает вероятный палач: «За измену Родине — расстрел».

Пётр Бобров сползает вдоль стены. И стреляют уже в лежащего на земле человека.

«Счастливчик. Умер до того, как пули поразили его», — эта странная мысль могла прийти в голову только врачу, который видел и знал, как часто смерть избавляет человека от невыносимых мук. Нет, он не будет таким, как этот лейтенант-артиллерист. Как растоптанный сапогами плевков мокроты. Он будет ненавидеть своих палачей, и это придаст ему силы. Его, Григория, будут расстреливать враги, и он крикнет им в лицо: «Да здравствует товарищ Сталин!»

Сутки просидел в холодном сарае. Ни пищи, ни питья. Утром за ним пришли. Загремел дверной засов. Двое солдат вошли в помещение. «И меня во двор?» — спрашивает Григорий. И голос его не дрожит.

Солдаты с ненавистью взглянули на капитана Крамера. Один из них прошипел: «Успеем еще. А пока погодим».

И сейчас, в 1948 году, по прошествии несколько лет, Григорий с удивлением вспоминает, откуда у него тогда появилась эта безрассудная смелость. Нынче он за таким безрассудством как врач непременно усмотрел бы нарушение психики. И до сих пор не может понять, каким чудом он оказался в Ленинградском госпитале на Мойке.

Теперь ехали на черной «Эмке». Довольно долго. Остановились около трехэтажного здания из красного кирпича. Удалось увидеть: около здания суетятся военные. Под расстегнутыми шинелями заметил белые халаты. Видимо, это госпиталь.

Машина опять трогается, въезжает в небольшой двор. За ней захлопываются

ворота. К машине подбегает офицер. Заглядывает в кабину. «Привезли?» — спрашивает он. И солдаты, охранявшие Григория, вдруг становятся подозрительно вежливыми. «Прошу на выход, капитан», — произносит один из них. Другой, стоя на вытяжку перед офицером, докладывает: «Начальник нештатного госпиталя, капитан Крамер, доставлен в ваше распоряжение».

— Капитан медицинской службы Крамер? — офицер пристально всматривается в лицо Григория. — Врач-инфекционист?

Судя по знакам в петлицах шинели, с Григорием разговаривает дивизионный комиссар.

«Главпур», — с непонятным облегчением подумал капитан Крамер. И тут же тяжелый выдох со стоном. Будто пробка из бутылки с шампанским. Но шампанское не для него, даже пена пролилась мимо. Крамер облизывает сухие губы. Поесть бы чего предложили. Но эти суетные мысли вылетают мгновенно.

— Так точно, товарищ дивизионный комиссар. Врач-инфекционист капитан Крамер, — произносит устало Григорий. Пробка вылетела, только пена где-то там, непонятно где. А в нем опять до жути пусто.

А откуда-то выскочил прежний знакомец, особист Седых. Вот он стоит перед дивизионным комиссаром. И комиссар, окинув взглядом помятую физиономию врача, бросает резко особисту:

— Капитана накормить, привести в надлежащий вид и в палату к больному.

Пока в пустой столовой Григорий жадно поглощал невкусную больничную снедь, медленно, наслаждаясь теплом, пил горячий чай, Седых сидел рядом с ним, с деланным безразличием посматривая по сторонам. Потом двинулся в туалет следом за Григорием. Сторожил у двери, пока доктор освобождал кишечник и мочевого пузырь и в том же туалете над раковиной долго мыл лицо, руки до плеч. Шинель и гимнастерку Григорий передал майору Седых.

— Будьте хоть в чем-то полезны, — проговорил доктор Крамер, передавая свою амуницию, — здесь повесить негде.

Седых улыбнулся зловеще: «Повесить тебя мы найдем где».

В коридоре госпиталя их ждала медсестра. Набросила им на плечи белые халаты. Седых передает Крамеру ремень, который снял с него при аресте. Гаденко усмехнулся: «Это только на людях. Чтоб вид соблюдал».

Когда шли по коридору, Седых шепнул Григорию:

— Если пациент умрет, с каким удовольствием я всажу в твою башку пулю.

Григорий взглянул на Седых. Благостная улыбка сияла на простом, деревенском лице особиста.

Больной лежал в отдельной палате. Посиневшие губы, тяжелая одышка. Увидев Крамера, больной что-то заговорил бессвязно, теряя сознание.

— Реакция Вейля-Феликса¹ положительная, температура — сорок, негромко проговорил госпитальный врач, который, видимо, ждал прихода Крамера. Он осторожно снимает одеяло с больного. Задирает рубашку. Григорий видит на обнаженном животе пятнистую розовую сыпь.

— Сыпной тиф, — врач смотрит на Крамера.

— Похоже, тяжелый случай. Прогноз — пятьдесят на пятьдесят. Но нельзя допустить, чтоб больной впал в кому. Тогда шансы, сами понимаете... — серьезно произносит Григорий. Бросает, было, взгляд на лечащего врача, но встречает насмешливый взгляд майора Седых.

«Радуетесь, сволочь. Так не дожидесь», — с какой-то отчаянной ненавистью подумал Григорий.

¹ Реакция Вейля-Феликса — диагностический тест, позволяющий выявить наличие у человека тифа.

— Скажите, я извиняюсь, как вас по имени-отчеству? — спрашивает врача Крамер.

— Игорь Петрович Шапошников, — торопливо отзывается врач.

— Так, Игорь Петрович, вы инфекционист?

— Нет, я врач общей практики. К несчастью, наш инфекционист несколько дней назад умер от тифа. Поступила к нам группа тифозных. А он случайно порезал палец при осмотре больного. Наплеватьски отнесся к этому. А тут опять эвакуация раненых, — торопливо говорит Шапошников. — Для себя у врача в такую пору времени нет.

От слов Шапошникова что-то горькое екнуло в груди Григория. Он мельком взглянул на Седых. Тот широко улыбался.

— Товарищ Седых, — обращается Григорий к особисту, — вы хотите заразиться тифом, как этот больной? Мне ж вас придется лечить, товарищ Седых, — Григорий еле сдерживает злую усмешку. Он видит, как позеленела физиономия особиста. Григорий даже подумал с тревогой: «Не хватало еще сердечного приступа».

— Да, да. Конечно. Я понимаю ваш интерес. Но лучше вам, товарищ, за дверь. Чем черт не шутит, — сбиваясь, говорит доктор Шапошников, обращаясь к Седых.

Седых, бросив тяжелый взгляд на Крамера, покидает палату.

Григорий просматривает перечень лечебных средств. Что-то вычеркивает, заменяя другими лекарствами. Замечает в списке лекарства, которые недоступны для обычных больных. Он спрашивает Шапошникова, кого им придется лечить. Шапошников смешался. Тихо произносит: «Армейский комиссар». Фамилию комиссара Григорий не расслышал. Видимо, доктор Шапошников нарочно невнятно произнес. Но четко проговорил: «Он прислан на наш участок фронта товарищем Мехлисом»¹. Упоминание о Мехлисе заставило капитана Крамера испуганно поежиться. Но он тут же взял себя в руки. Пишет на листке бумаги слово «пенициллин»². Просит передать это начальнику госпиталя. По смущенному лицу доктора Шапошникова Крамер понимает, что это лекарство Шапошникову незнакомо.

При госпитале Крамеру выделили комнату. Человек, который его поселил, сказал: «Это только на время лечения вверенного вам больного». Григорий собрался было, спросить, а что дальше? Взглянул на говорившего с ним человека в халате, который теперь везде сопровождал его, понял, что дальше все беспросветно. НКВД или офицер медицинской службы — гадать времени у Григория не было: армейскому комиссару становилось все хуже. И «человек в халате» все с большим подозрением смотрел на него.

Капитан Крамер уже несколько ночей проводил без сна. Вчерашняя ночь была полна кошмарами: он вдруг четко осознал, что смерть комиссара обречет и его на смерть. «Хотел заразить тифом раненых бойцов, преступно-неграмотным лечением привел к смерти армейского комиссара. Намеревался перебежать на сторону врага», — одной из этих формулировок достаточно, чтобы военный трибунал приговорил его к «вышке». И никто не будет разбираться, где просто ложь и где умышленное убийство. Но сегодняшняя ночь будет другая. Верно, лютая ненависть к особисту Седых придала Григорию силы. В его памяти всплывают картины болезни всех тифозных больных, которые прошли через его руки и в довоенном Ленинграде, и в военном госпитале. Все как на ладони.

¹ Мехлис Л.З. (1889—1953) — советский государственный и военный деятель, генерал-полковник. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. — начальник Главного политуправления, заместитель наркома обороны Сталина И.В.

² В 1941—1943 гг. пенициллин в СССР поставлялся по Ленд-лизу. Поставки часто срывались. С 1943 г. в госпитали РККА начал поставляться пенициллин советского производства.

Как правило, течение болезни укладывается в стандартные рамки. И при летальном исходе Григорий часто находил те микроскопические медицинские просчеты, которые возможно... Возможно!!! Могли привести к смерти больного. В башке уже складывалась схема, чего делать нельзя, а что необходимо.

Вспомнить выживших больных с анамнезом, похожим на картину болезни комиссара. В голове пылает будто тысяча молний. И вот взорвалась шаровая: мальчишку привезли из Луги. В сороковом году. Картина почти такая же, как и у комиссара. Почти... Комиссару лет пятьдесят, а мальчишке — восемнадцать. Учесть дозировку медикаментов. А есть ли эти медикаменты в наличии? Все лекарства он помнит, как «Отче наш». «Отче наш» — это от тестя перенял, — и сразу вспомнилась Наденька. «Неужели я тебя больше не увижу?! Увижу!» Он не замечает, что почти кричит. Сторожевой солдат заглядывает в комнату. «Все нормально», — бормочет Григорий.

Итак, восьмой день болезни... Перечень медикаментов он помнит наизусть. Григорий торопливо надевает брюки. Гимнастерку тоже надо надеть: нынче дежурная медсестра — юная девочка. Выскакивает в коридор. «Товарищ доктор!», — жалобно кричит солдат. Григорий отмахивается от него. Солдат бежит за ним следом. Замирает перед дверью в больничную палату. Григорий буквально влетает в помещение. Удивленные глаза медсестры. Время без пяти пять. Еще ночь на дворе. Будильник на столе перед медсестрой. В пять — прием лекарства. «Это отменить! Дежурного врача ко мне!» — откуда-то прорезался командный тон.

Заспанная физиономия доктора Шапошникова. Повезло с дежурным врачом: не надо ничего объяснять.

Григорий на клочке бумаги пишет название необходимого лекарства. Доктор Шапошников возвращается из ординаторской с медикаментами. «Давать больному через каждые три часа», — уже в каком-то полусне говорит Григорий.

«Или вместе с комиссаром на тот свет, или вместе праздновать победу», — отчаянная мысль шевельнулась в голове доктора Крамера. И слово «победа» прозвучало, как затухающий бой церковного колокола. Шатаясь, Григорий плетется к своему жилищу.

Проснулся в одиннадцать часов. Полуденное солнце било в окно. Странно, что он не востребован.

Торопливо одевается. В коридоре сидит уже другой охранник. Сержант. Ночью был рядовой. Григорий спешит в палату к больному комиссару. Тревога разрывает грудь. А вслед ему слышен голос сержанта: «Товарищ капитан, завтрак сейчас вам принесут». И это не удивило его, просто прошло, как пустой звук: перед смертью не надышишься. В палате знакомая медсестра. С ней начинал лечить комиссара. Кажется, зовут Татьяной. «Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной. Не привлекла б она очей, — и что в башку лезет?! — А ведь с моей Наденькой не сравнить».

Полногрудая Татьяна неловко поднимается со стула. Прикладывает палец ко рту. Шепчет: «Он спит». Григорий наклоняется над больным. Ровное дыхание. «Пульс семьдесят. Температура спала до тридцати семи», — говорит Татьяна и протягивает Григорию упаковку пенициллина.

— Инструкция на английском. Обещали прислать переводчицу. Да вот все нет, — сообщает она.

Григорий тяжело опускается на стул. «Дай прийти в себя», — говорит он медсестре. А та, будто, не слышит его. Опять повторяет: «Пора этот пенициллин давать, а переводчицы нет».

— Нет проблем, — отзывается Григорий, — с английским мы на «ты».

Вспомнилось довоенное время. Осваивал английский с Ирочкой Рапопорт из иняза. Даже мама приезжала из Гомеля посмотреть на Ирочку. Одобрила выбор сына.

Но появилась Наденька, и про Ирочку тут же забыл, а вот английский не забыл. Правда, пришлось доучивать его на специальных курсах.

Уже было доложено госпитальному начальству, что кризис миновал и армейский комиссар пошел на поправку. Это доктор Шапошников поторопился...

Армейский комиссар был послан начальником Главпура Львом Мехлисом. Должен был составить представление о положении дел на данном участке фронта, разобраться в причинах отступления. «Паникеров и дезертиров расстреливать на месте как предателей», — армейский комиссар знал, как остановить отступление Красной армии. Вот один паникер и трус — артиллерийский лейтенант — был расстрелян. Но фашистская тифозная вошь — и не уберегли посланца товарища Мехлиса. А сейчас перед дивизионным комиссаром Куликовым стоит майор Седых. Требуется забрать подследственного Крамера, поскольку в нем уже нет нужды. Дело его передать на рассмотрение военного суда. И Куликов знает, что армейский комиссар вроде пошел на поправку. И это «вроде» в докладе начальника госпиталя настораживает. Тем более что прозвучало: «Возможны рецидивы. И неизвестно, как будут развиваться события». Разумеется, начальник госпиталя, подполковник медицинской службы, подстраховывается. И еще подполковник напомнил, что нынче смертность от тифа в войсках значительная. И это еще мягко сказано. Да и кому как не дивизионному комиссару этого не знать: смертность от тифа превзошла все мыслимые пределы. И еще начальник госпиталя сообщил, что по его сведениям капитан медицинской службы Крамер, будучи начальником нештатного госпиталя, обеспечил хорошее санитарное состояние войсковой части. И смертность от тифа в этом госпитале была значительно ниже, чем в среднем по войскам. «И вообще, желательно оставить Крамера при нашем госпитале. В данный момент у нас нет инфекциониста. Ведь нынче тифозная вошь — главный враг после фашистской Германии», — закончил свой многословный доклад госпитальный начальник.

И все это никак не вязалось с обвинениями, выдвинутыми майором Седых. По его словам именно он, Седых, сорвал преступные замыслы Крамера заразить раненых бойцов тифом, поместив их в один транспорт с тифозными. Но медицинские сотрудники нештатного госпиталя дали показания, что Крамер организовал эвакуацию тифозных бойцов на санях. И потом по требованию Крамера армейским командованием был выделен спецтранспорт для этих больных бойцов.

— А сейчас только благодаря неусыпному контролю, — не унимается майор Седых, — при моем непосредственном участии была сохранена жизнь армейского комиссара, товарища...

— Прекратите, — останавливает майора дивизионный комиссар. — Приказываю вам: отправляйтесь немедленно на передовую. И там обезвреживайте диверсантов, шпионов и предателей.

— Этот Крамер хотел перебежать к немцам. Но был мною арестован, — это главное, что хотел сказать Седых комиссару. И он сказал это ему. Но увидел ядовитую улыбку комиссара:

— Вы, майор, знаете имя и отчество доктора Крамера?

Не услышав ответа, чеканит:

— Григорий Исаакович. И знаете, что с евреями делают фашисты?.. Вы свободны, майор!

Комиссар уже не сдерживает раздражения.

Майор Седых еще многое не успел сказать комиссару. Он же участвовал в депортации немцев Поволжья в сентябре 1941 года. Он, Седых, сам с Волги, из селения Красный Кут. И там жила целая семья немцев — Крамеров. А этот капитан Крамер никакой не Исаакович. В сорок первом году у лейтенанта НКВД Седых был знакомый немец по имени Изаак. Не в штаны же заглядывать к этому доктору Крамеру. Но если надо, то и заглянем. А если уж заглянем, пусть и обрезанный, тут уж к бабке не ходи,

придется шлепнуть. Но с дивизионным комиссаром не поспоришь. За его спиной — всемогущий Мехлис.

«Ничего, ничего. И на нашей улице будет праздник», — и эта мысль успокоила майора Седых.

И для дивизионного комиссара Куликова возня с доктором Крамером — лишняя морока. Если бы на карту не была поставлена жизнь его непосредственного начальника — армейского комиссара. И приказ Мехлиса разобратся и доложить. А так — одним Крамером больше, другим меньше. Какая разница? Лес рубят — щепки летят... Война есть война.

Дивизионной комиссар Куликов подписал распоряжение: «За недостаточностью улик закрыть дело Г.И.Крамера». Подписал — и баста. Кто ж посмеет спорить с товарищем Мехлисом?

«Включить капитана медицинской службы Г.И.Крамера в штат дивизионного госпиталя», — это уже автоматом пошло. Обошлось без дивизионного комиссара Куликова.

Доктор Крамер еще успел пообщаться с выздоровевшим армейским комиссаром. Тот крепко пожал ему руку. Но спасибо не сказал. Однако сообщил, что учитывая прошлые заслуги и нынешние, и при этом эдак хитро посмотрел на Григория, непременно поручит подготовить представление о награждении капитана медицинской службы Григория Исааковича Крамера.

Неделя не прошла. Начался налет фашисткой авиации. Вместе с санитарями Григорий переносил больных своего инфекционного отделения в бомбоубежище. Во дворе госпиталя разорвалась немецкая бомба. Григорий не знает, жив ли санитар, который нес с ним носилки. И жив ли больной боец, которого несли на этих носилках. Но возможно, кровь инфицированного больного попала на раны доктора Крамера. Позже сообщили, что истекающий кровью доктор Крамер лежал на растерзанном теле тифозного красноармейца.

А теперь вот надо пойти на барахолку, что на Обводном канале. До сих пор он носит ушанку. Хоть ушанка и офицерская, но со временем истрепалась изрядно. На барахолке продавец шапки уверял, что шапка на кроличьем меху. И Надя решила, что шапка вполне приличная. Показала шапку отцу, и он сказал, что это собачья шкура. Надя чуть не расплакалась. А Грише — все нипочем. Смеется. Главное — тепло. И еще пошутил не очень складно: «Нам с нее не воду пить. И с корявой можно жить». И Сашка, Верин муженек, еще добавил, мол, шапка корявая, зато жена красавица. Нашел время ехидничать.

Эту шапку Гриша всего один день и поносил. С работы возвращался, еще светло было. Двое таких расхристанных подошли. Сразу видно — шпана Лиговская. Морды пьяные, у обоих пальто расстегнуты, полы на ветру болтаются. На головах — лондонки. Подходят к Грише.

— На каком рынке захромал, жидовская морда? Ишь, шапку новую напялил. А мы мерзнем на морозе.

И один лондонкой по лицу Грише шмякнул. Гриша на него палкой. Да ноги-то хромые подвернулись. Гриша упал. Шапка его новая покатила по вытопанному снегу. Эти, пьянь Лиговская, шапку схватили, пошли спокойно, как ни в чем не бывало. Гриша еле поднялся, кричит вслед им, мол, шапку верните. Народ идет мимо. Никто не обернется. Не остановит воров. Гриша ковыляет следом, надрывается криком: «Помогите, у меня шапку украли!» А эти в лондонках чуть шаг прибавили. Задницами вертят под распахнутыми пальто, как педерасты какие. Оглядываются, рожи скалят. Завернули под арку и дворами сгнули.

Гриша пришел домой, пальто все в грязи. Другой бы расстроился, а он смеется:

«Бог не фраер, правду видит. Мне — орденосцу — собачью шапку носить не к лицу».

Надя сначала сильно огорчилась, а потом расцеловала Гришу. А Гриша все еще смеется, но какая-то мрачная тень проступила на его лице.

— Гриша, что-нибудь еще? — с тревогой спросила Надя. — Они тебя обозвали нехорошо?

— Попробовали бы. Я бы их убил, — Гриша прячет глаза от жены. Желваки тяжело ходят у него на скулах.

— Все равно ты у меня самый лучший, — говорит Надя.

— А что? У тебя были и другие? — Гриша беззаботно улыбается.

— Ну что ты несешь! — Надя сердится. Она знает, что сейчас Гриша скажет: «Когда ты сердишься, ты просто прелесть».

— Ну поморщи еще лобик, моя прелесть, — слышит Надя. И ей хочется, чтобы Гриша говорил это еще и еще.

Надя уже окончила медицинский институт. Работает хирургом в Куйбышевской больнице на Литейном. И Гриша там — ведущий врач-инфекционист. Заведующий отделением.

А вот что с шапкой? Гриша человек не гордый, поносит старую ушанку. Это он сам так про себя сказал. В больнице девчонки завидуют Наде. Конечно, не каждая дождалась с войны своего мужа. А Клавка, врачиха с отделения, где Гриша заведует, такая ядовитая баба, одинокая. Так и сказала: «Что это твой в драной шапке ходит? Человек уважаемый, а одет — прости Господи».

В следующее воскресенье Константин Иванович обещал с Надей и Гришей отправиться на барахолку. Его уж никто не обманет. Гриша смеется, мол, он специалист по тифозным вшам. А специалиста по шапкам лучше, чем тесть, — не найти. Купили каракулеву шапку. Теперь Гриша, как сворачивает с Невского на Лиговку, каракулеву прячет. Надевает воинскую ушанку. Просто смех и грех. И когда наша доблестная милиция разберется с лиговской шпаной? А ведь во дворах на Лиговке и убийства, и грабежи бывают. У Гриши с Надей вход в дом с Лиговского проспекта. Это поспокойней. А теперь вот надо найти хорошего портного. И Грише костюм справиться и пальто. Чтоб Клавка заткнулась. Хотя Гриша уверяет, что своими костюмом и пальто вполне доволен.

Был хороший портной. Он Константину Ивановичу до войны пальто зимнее пошил. Но дом, где жил портной, разрушен во время бомбежки. И сам портной жив ли? Спросить уже некого.

Да, вот еще: в году сорок пятом заходил Гриша на Садовую. Адрес — Садовая 12, квартира 3 — надолго впечатан в голову. И память о расстрелянном лейтенанте Боброве жжет нестерпимой болью. Соседи сказали, что вся семья Бобровых погибла в блокаду.

Когда вернулись в Ленинград, Катя пыталась через «Ленсправку» найти адрес Сони Поспеловой. В «Ленсправке» старая тетка велела зайти через неделю, а деньги взяла сразу. Ну, деньги не такие уж и большие, но все равно жалко, если отдала зря. Господи, когда жила с Костей, о деньгах и не думала. За последнее время в Кате первый раз шевельнулось что-то живое, связанное с мужем.

Зашла в «Ленсправку» через неделю. Тетка свое окошечко не удосужилась открыть. Хрюкнула в щель: «Софья Наумовна Поспелова — такой не значится». А вот сейчас будка «Ленсправки» на Садовой. Прежнюю с Невского убрали. Девчонка сидит. Быстро полистала свои кондуиты и тут же Сонин адрес выдала. Оказывается, Соня живет на Литейном, рядом с Куйбышевской больницей, где дочь с зятем работают.

Катя купила бутылку вина. Мускат «Массандра». Коробку конфет в Елисейском. Соня, как увидела в дверях Катю, бросилась к ней на шею. Обнялись, расплакались.

Каждая говорит, что уже не надеялась увидеть друг друга живым. Уселись за стол, и первый вопрос Сони был, почему без Кости. Что с ним? Катя поджала губы как-то нехорошо.

— И все-таки что с ним? — повторила вопрос Соня.

— Да что с ним сделается? — Катя отводит глаза. — В Ярославле, где были мы в эвакуации, спутался с бабой.

Катя видит удивленный взгляд своей подруги, пожимает плечами.

— Седина в голову — бес в ребро, — безразлично говорит она. И почему-то ей не хочется сообщать Соне, что баба, с которой «спутался» муж, спасла жизнь внуку.

— Такая смертельная пустота в душе, — Катя тяжело вздыхает.

— У меня в блокаду умерла мама. А вот я пережила это страшное время. Сейчас только работа меня и спасает. А ты что делаешь?

Катя будто не слышит вопроса Сони. Она видит Ивана молодого, красивого. Они идут по заснеженной улице Гаврилов-Яма. Новогодняя ночь. Соня хохочет. Но среди них нет Константина Ивановича. И это вовсе не смущает Катю. Ей страшно спросить Соню, что с Ваней? Она вглядывается в Сонино лицо, и ей кажется, что и Соня боится этого вопроса.

— Где я работаю? — безучастно произносит Катя. — В общем, случайные заработки. Полгода работала в детском саду. Потом РОНО направил меня в детский дом. Сирот обучать грамоте.

— А почему не в школу? Куйбышевское РОНО? Я же там работаю. Как же ты мимо меня прошла?

Катя растерянно улыбается. Пожимает плечами. Слышит уверенный голос Сони:

— Все! Или ко мне в РОНО. Или в школу. Я все устрою.

Соня разливает вино по рюмкам. «Твое здоровье», — обращается она к Кате. Но Катя не успевает ей ответить. Дверь в соседнюю комнату с грохотом открывается. И на пороге возникает какая-то нелепая фигура старика. Седые волосы растрепаны. На нем застиранное исподнее. Кальсоны с желтыми пятнами на штанинах. Старик безумными глазами уставился на Катю.

— Ваня, — неуверенно произносит Соня, — это Катя.

Иван криво усмехается. А Соня вдруг словно опомнилась. Вскочила из-за стола. Подбежала к нему. Увела в соседнюю комнату.

Катя закрывает глаза, а перед ней опять возникает эта жуткая сцена. Неужели это Ваня? Что же с ним сделали! Слез не было. Было мертвое оцепенение.

Катя ждала подругу, кажется, целую вечность. Наконец Соня вышла. Тихо проговорила: «Он вернулся полгода назад».

Катя тут же заторопилась домой. Продиктовала подруге свой адрес. Просила непременно ее навестить. И уже на пороге спросила: «На работу уходишь на весь день. А он?»

С именем Ваня никак не вязался человек, которого она только что видела. Соня все поняла. Сказала сухо: «Соседка днем приходит Ваню кормить».

— Сонечка, Сонечка, — вдруг прорвало Катю. — Какой бы он ни был. Главное — жив, — но что-то неожиданно остановило ее горячую речь. Верно, мрачная мысль возникла в голове. Если не Ваня, может, и меня, и Константина уже на свете не было бы, — говорит она обреченно.

Помолчала. Доверительно обняла Соню. «Соня, а доносы на Костю — Павлина Зуева? Ее рук дело?» — спросила она.

— Катя, давай присядем, — устало произносит Соня.

Подруги вернулись в комнату. Катя с тревогой ждет, что скажет ей Соня.

— Мне не очень хочется возвращаться к тем далеким дням, — Соня тяжело

вздыхает, — но скажу тебе откровенно. Тебя бы не тронули. Забрали бы только Костю. А доносы писал Петрушкин Николай Семёнович. Помнишь такого?

— Как не помнить. Директор нашей Гаврилов-Ямской школы. Омерзительный тип.

— Так вот, этот омерзительный тип был без памяти влюблен в тебя.

Катя удивленно смотрит на подругу. А Соня продолжает:

— Ну конечно, вся школа об этом знала. Только ты ничего не ведала. А Павлина, при всей ее большевистской непримиримости, оказалась все же человеком порядочным. Приехала в Ярославль. Сообщила нам, какую подлость готовит товарищ Петрушкин. Николай Семёнович считал ее своим человеком и опрометчиво был с ней откровенен. А схема простая, отработанная: мужа в тюрьму, а жену себе в койку. И еще — он же из «бывших», как и Костя.

При имени «Костя» Соня на мгновение замерла. И потом с трудом произнесла:

— Петрушкин все время должен был доказывать преданность властям.

— Боже, какая мерзость, — Катя брезгливо передернула плечами. Бросила взгляд на подругу и увидела ее помертвевшее лицо.

— Сонечка, что с тобой? — испуганно спросила Катя.

— Сейчас пройдет, — еле слышно проговорила Соня. — Катя, если бы твоему любимому человеку грозила смерть, ты бы пошла на это?

— На что на это? — шепчет Катя.

— С этой тварью, Петрушкиным, в постель?

— А ты? — растерянно говорит Катя.

— Я тебя спрашиваю. Тебя! — отчаянно кричит Соня.

— Сонечка, я не знаю. Я не знаю! У меня сейчас нет любимого человека, — Катя чувствует, что сию минуту разрыдается.

Из-за закрытой двери, куда Соня отвела Ивана, слышится хриплый голос:

— Соня, Соня! Ты кричишь?

Соня вскакивает со стула. Торопливо говорит, обнимая Катю: «До встречи. Не пропадай».

Прощание

«Никто не знает ни года, ни месяца и ни часа своей смерти. Но это ложь. Небесный счетовод каждому отсчитывает время. И заранее предупреждает о конце. Но его никто не слышит. Или не хочет слышать. А вот если кто услышит, то выбегает на улицу, зажимает уши руками и кричит: “Настал мой смертный час!” Кто ж ему поверит? Забирают в сумасшедший дом. Там пичкают лекарствами. И он забывает о смерти. И смерть забывает о нем. Живет он там много лет как растение. Но очнись он на мгновение человеком, тут же явится мысль: “Лучше бы умереть, чем жизнь такая”. Тогда и смерть не заставляет себя ждать. Ведь никто не признается, что он сумасшедший. А по кому звонит колокол, узнаем только на кладбище».

Где Константин Иванович прочитал этот текст, никак не вспомнит. Как-то содержание его пересказал Александру. Спросил у зятя, как он все это понимает? Услышал совсем не в меру раздраженный ответ: «Да выбросите вы, Константин Иванович, из головы эту антисоветчину!» Поплелся Константин Иванович в кухню, где нынешнее место его обитания. В верхнем углу кухни блеснула серебром икона Божией Матери. И тут нахлынуло на него что-то неприкаянное, горькое и тягостное. Встал перед иконой, устремил взгляд на лик божий: «Господи, знаешь все грехи, мысли, чувства и дела мои. Из бездны зываю к тебе, Господи». Услышал ли его Господь? Глядя на икону, Константин Иванович тяжело перекрестился, будто ждал смерти или прощения...

Квартира Вере досталась со старой потертой мебелью. И книжный шкаф со старыми книгами. Переплет их расплывается в руках. Пожелтевшие от времени страницы рассыпаются, как осенние листья.

Муж ее собирался познакомиться с этими фолиантами, нет ли там чего антисоветского. Да все руки у него, бедного, не доходят. Измучился он со своей культурой. Да и у Константина Ивановича самого со здоровьем неладит. Ведь прожил жизнь долгую и не помнит, чтобы болезни серьезно одолевали. А тут посыпалось, как из решета. Вот и вся недолга. Стал редко ходить в туалет. Похоже, запор. А когда в туалете приходится напрягаться, отдает в голову. Врач сказал, что меньше надо есть мяса, больше овощей. Про мясо слушать просто смешно. Какое тут мясо, когда такая дороговизна. Вера делает котлеты, так столько хлеба бухает. Даже в Ярославле Катя в котлеты столько хлеба не совала. Константин Иванович врачу говорит про голову, а тот все про овощи да про овощи. Врач, и сам-то далеко не молод, эдак покачал головой, мол, в ваши годы, что говорить, на все недуги лекарств не хватит. Замерил грушей давление. Давление, сказал, как у молодого. Сказал, как показалось Константину Ивановичу, с завистью. Поди, у самого-то оно прыгает. Выписал цитрамон. Предупредил, что лекарство дорогое. Сказал — это вам от головы.

И с кем нынче поговорить о своих болячках? С Верой? Так она только о своем: «Ой, папа. У меня самой голова разламывается». С Сашкой? Какой толк — безногий да контуженный. Вот Надя обещала забежать, может, с Гришей зайдут. Тот хоть с умом, что подскажет.

В голове гул стоит. Будто сто колоколов гремят. То ли благовест, то ли поминальный колокол.

Вот Александр бросил газету «Правда» на кровать тестю. Месячной давности. Константин Иванович начинает читать без интереса: «Распущен Еврейский антифашистский комитет. Арестованы члены ЕАК».

Константин Иванович заволновался: начинается. Не к добру все это. Кому опять евреи помешали? Александр молчит. Партийный он.

— А Никольский собор не закроют? — Константин Иванович не отстает от зятя.

Александр опять молчит. Константин Иванович в Никольский на каждую воскресную службу ходит. Зять так и не сказал ни слова. Загремел костылями в свою комнату. Константин Иванович присел на кровати поближе к окну, чтобы лучше читать газету: «Факты свидетельствуют, что ЕАК является центром антисоветской пропаганды, регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки». Большая статья о безродных космополитах. Не захотелось продолжать чтение. Константин Иванович аккуратно сложил газету, направился к зятю. Александр лежал на диване, уткнувшись в стену. «Саша, ты же партийный. Объясни, что это значит?» — Константин Иванович садится на диван рядом с зятем. Тот нехотя поджимает свою единственную ногу. Начинает скучно говорить: «Для них, космополитов, на Западе — все хорошо. Все плохо у нас. Конечно, их надо, так сказать...» — Александр не заканчивает фразу. Но Константину Ивановичу и так все понятно. «Да, метлой их, на свалку», — говорит он, стараясь быть ироничным. «Ну, не на свалку. Пускай дворниками поработают, грузчиками. Они все в начальство лезут, — отзывается Александр. — Что-то я не видел безногих евреев». Константин Иванович сокрушенно качает головой: «А Гришу нашего тоже в дворники?» — «Константин Иванович, прекратите допрос. И так тошно. У меня культя натерта, нарывает. А вы меня с этими вчерашними делами достали. Вам что? Больше всех надо?» — Александр комкает газету, прыгает с тяжелым грохотом к печке, бросает газету на тлеющие угли. Газета вспыхивает ярким пламенем и оседает на углях серым пеплом. Так и мы — вспыхнем однажды ярким пламенем, а потом серым пеплом развеет нас ветер. Но Константину Ивановичу не до этих красивых фраз. Он плетется на кухню, укладывается на свою железную кровать. Трудно последнее время на ней

спать. Пружины весь матрас прорвали. Вот, похоже, дочь пришла с работы. Сумки с продуктами бросила в коридоре. Так и есть — Вера. Усаживается на кровать в ногах отца. И Константин Иванович слышит ее взволнованный голос: «Папа, ко мне в школу Надя прибежала, вся в слезах. Гришу с работы уволили. Он уже по поликлиникам несколько дней ходит. Нигде не берут. Мама поехала к Соне Поспеловой. Ты знаешь, мама ее нашла. Соня обещала ее на хорошую работу устроить, а то ведь на одну Надину зарплату троим не прожить. А Соню тоже уволили». Константин Иванович молчит. Что здесь скажешь? Свою пенсию придется отдать Наде, пока Катя не найдет работу. Кате с работой тоже не везет. Ходила по школам, с ее образованием только в младших классах учительствовать. А первоклашек в войну не больно-то настрогали. Так что с работой и у Кати проблемы. Не в уборщицы же ей идти. И здесь — Александр треть своей пенсии Гале на алименты отсылает.

«Соня — жива. Хоть одна добрая весть», — Константин Иванович хочет спросить дочь, а муж Сонин — Иван — жив ли? Но Веру совсем другое тревожит. Она рассказывает, что Гришу перед увольнением главврач вызвал, сказал такое, страшно слушать: «Вот как весь немецкий народ несет ответственность за гитлеровскую агрессию, так и весь еврейский народ должен нести ответственность за деятельность буржуазных космополитов». «Папа, что, с того света господин Пуришкевич явился? И опять евреям отвечать за то, что Христа распяли?» — слышит Константин Иванович полный отчаяния голос дочери.

«Верочка, я не знаю, что тебе на это все ответить. Спроси своего мужа», — Константин Иванович смотрит на дочь, которая в изнеможении опустила руки.

— Ты опять таскаешь тяжелые сумки. Поди, опять картошка, капуста. Я ж тебе много раз говорил, чтоб не таскала тяжестей. Скажи только, что надо купить. Может, на что другое я негоден, а уж в овощную лавку сходить — сгожусь. Ты еще молодая. Может, родишь еще мне внука или внучку.

— Папа, я беременна, — Константин Иванович слышит подавленный голос дочери.

— И прекрасно, — Константин Иванович счастливо улыбается.

— Ну что вы, папа. На что жить-то? На вашу и Сашкину пенсии разве проживешь? Ведь с ребенком надо минимум год дома сидеть. Надо аборт делать...

— Ни в коем случае! Это же нынче подсудное дело! — Константин Иванович не сдерживает крика. Вера торопливо прикрывает дверь в комнату, где лежит на диване Александр.

— Не хочу, чтоб Сашка слышал.

— Если причина только в деньгах на житье, пойду работать. На прядильно-ниточный комбинат. Меня наверняка там еще помнят. Каким подметалой может и возьмут. Скажи, у тебя с Александром проблемы?

Константин Иванович внимательно смотрит на дочь.

— Нет-нет. С Сашей все нормально, — торопливо говорит Вера. — Он даже собирается в институте Герцена работать. На кафедре «Марксизма-Ленинизма», где он до войны трудился, все места заняты. Но там появился учебный курс «Химическая защита». Саша рассказывал, что студенты называют этот курс «хим-дым». И еще он говорит, что «Химическая защита» была его военной профессией. И в институт его просто обязаны взять. Только вот у него с ногой плохо...

Константин Иванович с сомнением смотрит на дочь. «Обязаны? И кто сейчас кому-то обязан?» — с горечью думает он.

— Ну, тогда другое дело, — с напускной бодростью, и откуда это взялось, произносит Константин Иванович. Хотел еще добавить, что теперь он может спокойно умирать. Но почему-то не решился.

В эту ночь Константину Ивановичу что-то не спалось. Всякие тревожные мысли лезли в голову. Взглянул на карманные часы, он всегда их кладет на стул рядом с кроватью. Благо, полная луна смотрела в окно. Было три часа ночи. Посмотрел на часы, и сразу — будто ухнул в прорубь, опрокинулся в глубокий сон. И снилось: они с Катенькой и малышкой Верочкой сидят на берегу Которосли. Катенька, юная и желанная, улыбается ему. Он безмерно счастлив. А мир вокруг безоблачный и светлый. Издали раздается колокольный звон. Никольская церковь в селе Гаврилов-Ям. Это далеко. И откуда этот звон? Константин Иванович считает: раз, два, три... Он ждет еще одного удара колокола. Но колокол молчит. Три удара — поминальный колокол¹. По кому это он отзвонил? И слышится голос Небесного счетовода: «Вот мы с тобой и свели дебет с кредитом». — «Подожди! У меня дочь рожает», — хочет закричать Константин Иванович. Но ворота Небесных чертогов уже за ним захлопнулись.

Утром Вера заглянула на кухню, где спал отец. Обычно он поднимался раньше всех и растапливал плиту, чтобы дочь могла приготовить завтрак, чтобы внук собирался в школу в тепле. За ночь кухня сильно выстуживалась. Окна на кухне старые, щели еще с зимы заклеены бумагой, но продувает. Май месяц, а ночи холодные. Вера подошла к кровати отца. Приложила руку ко лбу Константина Ивановича и со страхом отдернула. Лоб был холодный, как лед. Счастливая улыбка застыла на лице отца. Он был мертв.

Летняя ночь была неподвижна и светла. С Московского вокзала слышны протяжные гудки паровозов. По пустынному Невскому проспекту в сторону Московского вокзала двигался одинокий мужчина. Он был высок ростом, слегка сутул. Шел неторопливым, размеренным шагом. И в его облике смутно угадывался Константин Иванович. Он следовал на свой последний поезд.

Взошла луна. И ее призрачный, холодный свет чуть озарил шпиль Адмиралтейства. С Московского вокзала прозвучал далекий, прощальный гудок паровоза.

¹ В православной богослужебной практике во время провозглашения «вечной памяти» принято совершать три удара в колокол.